

КАК МЫ НАЧИНАЛИ

Из житейских и литературных воспоминаний рабочего поэта Авенира Ноздрина

Предисловие и примечания М. Сокольников

Редакция текста И. Кубикова

Публикуемые мемуары принадлежат перу Авенира Евстигнеевича Ноздрина, старейшего нашего пролетарского поэта. В истории пролетарской поэзии имя Ноздрина (род. 29 октября 1862 г.) должно быть поставлено в ряды первых ее зачинателей, вместе с Егором Нечаевым и Ф. Шкулевым. Ноздрин — подлинный поэт рабочего класса, выразитель труда и борьбы текстильщиков центрального промышленного района, всей своей жизнью и творчеством крепко связанный с революционным движением рабочих масс. По профессии гравер-текстильщик, он в течение тридцати лет работал на фабриках в Иваново-Вознесенске, а также в Москве и Ленинграде. В 1905 г. Ноздрин — один из активнейших участников забастовочного движения иваново-вознесенских ткачей и председатель совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. После „манифеста“ его имуществу подверглось жестокому черносотенному погрому, и он вынужден был покинуть родной город. С 1907 по 1909 г. Авенир проводит в ссылке в Олонецкой губернии.

Первые стихи Ноздрина появились в печати в 90-х годах. Писал он в ярославском „Северном Крас“, был членом редакции газеты „Рыбинский Листок“, издавал „Дубинушку“ и „Колотушку“ — сатирико-политические журналы, сотрудничал во многих иваново-вознесенских изданиях. В 1896 г. книгу его стихотворений предполагал издать Валерий Брюсов. В письме к П. П. Перцову от 20 марта 1896 г. В. Я. пишет: „Осенью напечатаю я 4-й вып. „Русских символистов“ и сборник стихотворений Авенира Ноздрина. Очень оригинальная поэзия“. („Письма В. Брюсова к Перцову“. Изд. Гос. Акад. Худ. Наук 1927 г., стр. 70. По сообщению Ноздрина, дело шло об издании 32 его стихотворений того времени.)

В революционные годы стихотворения Ноздрина печатались в иваново-вознесенской газете „Рабочий Край“, в местных сборниках и журналах. Отдельным изданием сборник его стихов выходит под названием „Старый парус“ в 1927 г. со вступительной статьей И. Н. Кубикова и комментариями М. П. Сокольников (в издании Московского товарищества писателей). Стихи Авенира Ноздрина попали в многочисленные школьные и клубные хрестоматии, в отрывные календари, сборники революционных поэтов. В последние годы старый писатель дал ряд ценных статей и воспоминаний о 1905 г. („Талка“ и др.), о соратниках по революционной работе (Фрунзе, Балашев-Странник), об ивановском рабочем театре и кружках.

Стихотворения Ноздрина посвящены рабочему быту и борьбе текстильщиков. Многие из них являются прекрасными поэтическими иллюстрациями отдельных этапов жизни города ткачей, стачек пятого года, кровавых событий военных лет и подъема 1917 г. Но вместе с тем поэзия Ноздрина имеет и более широкое значение: его стихи как бы обобщают героические моменты борьбы рабочего класса и дают образы рабочих-революционеров прошлого во всей их великой простоте. В отличие от поэзии Нечаева и Шкулева, еще тесно связанных с крестьянством, стихотворения Ноздрина проникнуты бодрим боевым началом и верой в творческие силы пролетариата. Идеалы Нечаева и Шкулева туманны и малоконкретны, они — отражение отсталых и малоорганизованных

рабочих, не освободившихся от косного деревенского быта; в поэзии Ноздрина идеи конкретизируются, причины и цели борьбы пролетариата ему ясны. Не гонясь за формальной изысканностью, пролетарский поэт обнаруживает несомненное дарование в образной передаче чувств и мыслей рабочих-текстильщиков.

Из произведений Авенира Ноздрина особенно выдаются „Смерть ткача“—проникновенные стихи о суровой доле рабочего; „Интернационал“, в котором старый малограмотный ткач, чувствуя в себе нарастание гнева против угнетателей, просит сынишку прочесть ему „Интернационал“; стихи из цикла „Пятый год“, среди которых наиболее ярки „Талка“, где Ноздрин рисует знаменитые собрания ивановских ткачей на берегу речки Талки и говорит о значении речей рабочего-пропагандиста Евлампия Дунаева. Наконец безусловно значительны и интересны и те стихотворения Ноздрина, которые связаны с годами ссылки,—„Незаконный“, „Цветут фиалки“ и другие.

„Живой свидетель побед и борьбы ивановских рабочих“, Авенир Ноздрин сохранил огромную любовь к жизни, к книге, с юношеским порывом интересуется современностью, ведет большую общественную работу. Он сейчас—член ЦК МОПР и кроме того историк-краевед, исследователь местных материалов. Награжденный званием героя труда, много поработавший для областной газеты „Рабочий Край“, пролетарский поэт встретил в 1932 г. свои 70 лет полный веры в торжество социалистического строительства и победу мирового пролетариата.

М. Сокольников

1

Родом я крестьянин как со стороны отца—крестьянина Шуйского уезда, деревни Кочкарово, так и со стороны матери—крестьянки Костромской губ., села Сидоровского.

Родился в 1862 г. 29 октября в селе Иванове, теперешнем Иванове, недавнем Иваново-Вознесенске.

Отец мой по тогдашнему времени был человеком грамотным, служил у мелких местных фабрикантов в качестве ярмарочного приказчика и за службу на фабрике у Е. С. Игумнова был награжден на Покровской улице домом, где он и сам пытался открыть свое „набойное“ дело, но неудачно; умер отец 44 лет, оставив меня по четвертому году.

В семье я был шестым, и к первым заботам моей матери, оставшейся после смерти отца без всяких средств, вскоре прибавилась еще одна забота—надо было ей отдать меня в школу. Уже шести лет я учился у дядка Магницкого, обучавшего меня славянскому языку и чистописанию.

В то время такое „духовное“ образование считалось первой необходимостью, и моими однокашниками в этой „школе“ были дети не только простолюдинов, но и крупных торговцев и фабрикантов, как например Фокиных, Самохваловых и т. п. К тому же мать моя была старообрядка и знание духовных книг должна была считать в воспитании своих детей первоочередной задачей. Сама она была женщиной грамотной, помогала мне учить уроки и к довершению всего заставляла обращаться с молитвой к покровителю наук святому Науму.

Дьячковское же обучение, в особенности для меня, главным образом сводилось к тому, что я, при поступлении к нему зимой, почему-то все угорал, а когда пришло лето, то начал помогать его дочери искать непутевую корову, никогда не приходившую из стада домой. Дочь его была нечто вроде пастуха, а я ее подпаском, носил всегда для заарканивания коровы веревку, и эта же веревка нередко потом в школе прогуливалась по моей спине, слегка прикрытой ситцевой рубашенкой.

Не сладко мне было у дьячка. Только в дни родительских суббот, когда он из церкви приносил целые мешки паточных и медовых припи-

ков, которыми кормил и свою непутевую корову и оделял своих учеников, еще было что-то похожее на то, что могло радовать меня и моих однокашников — детей небогатых родителей.

Но из-под веревки и от пряников мне все-таки пришлось уйти. Надоело мне таскать огромнейший псалтирь, чуть не больше самого ученика, мать вняла моим жалобам на пастушню и освободила меня от дьячка.

Едва научившись читать по-славянски и кое-как писать, я перехожу в „Земское образцовое училище“ или, как тогда говорили, к „отцу Александру“.

Отец Александр Альбицкий как по своей внешности, так и по любовному чисто отеческому отношению к своим ученикам был весьма похож



А. Е. НОЗДРИН
Фотография 1900 гг.
Областной музей, Иваново

на Христа, изображение которого было всегда у нас на глазах в той „священной истории“, по которой мы тогда обучались. С другой стороны, этот наш учитель никак не укладывался в наших детских понятиях, когда мы видели его курящим, когда мы знали, что он дома играет на рояли, что он с нами не отказывается играть и в лапту, и в бабки. А когда часто после урока из „священной истории“ он вместе с другими учителями явления природы объяснял при помощи физических приборов, в нас недоуменные вопросы о своем учителе еще больше заострялись и из школы мы уходили с душой, полной брожения, волнуяще настроенными.

В эти же годы здесь много говорят о Нечаеве-ивановце¹. Многим ивановцам стало известно и слово „нигилист“, и мы, подростки, в нем разбираемся и задаем себе вопрос: не обучает ли нас в школе отец Александр нигилизму? Особенно эта мысль нас волновала после того, как нашего отца Александра отсюда перевели в одну из Петербургских тюремных церквей, будто бы за его близость к Нечаеву.

Мое трехлетнее пребывание в этой земской школе было одной из лучших страниц моего детства, несмотря на то, что все, чему нас учили

в этой школе, было далеко от жизни. Жизнь нас после школы принимала не по-книжному, по головке не гладила, вместо пушкинских стихов, ставших школьной песенкой:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,

заставляла нас петь иные песни — песни непосильного ярма, невероятно длинного рабочего дня.

Школа учебы и школа жизни рабочего между собой ничем не были связаны. Когда я был по желанию матери отдан в ученики в фабричную граверную мастерскую бр. Борисовых, то в первый же день меня там встретили вот чем: придя в мастерскую, я не успел снять свой картузишко, как меня тут же окружила целая ватага будущих моих учителей, они начали меня обнюхивать и я услышал реплику: „пахнет“. В это время один бросается к открытой форточке и заявляет, что и здесь „пахнет“, но пахнет только не с улицы, а другой подвергает меня испытанию, тверд ли я в своем характере, ударяет меня по голове костяшками сложенного кулака и спрашивает: „Больно ли?“

Я готов был расплакаться от боли, но сдержался и заплакал только тогда, когда по дороге домой узнал, что слово „пахнет“ обязывает меня принести своим учителям могарычный целковый. Отнять у матери последнее? Но, как на грех, этого целкового у матери не оказалось, и на другой день я на фабрику пошел чуть ли не со слезами, боясь новых колотушек и нового обнюхивания.

Так меня встретила фабрика после того, как я уже был знаком с книгой, с театром, совершал со своими сверстниками набеги в лес на грибы, на ягоды и с ребятами же занимался и „вольным“ трудом: собирал битое стекло, кости, тряпье и менял их на пряники, которыми меня кормил когда-то первый мой учитель дьячек.

Мне, не умеющему и неспособному рисовать (что значительно упрощает учебу), ремесло гравера давалось плохо, с большим трудом, и я вышел в мастера среднего калибра. Такая роль на фабрике мне улыбалась мало. И все же к этому я как-то приспособился и тянул фабричную лямку в течение более трех десятков лет.

Фабричная обстановка моих ранних лет далеко не гармонировала даже с моей недостаточной домашней обстановкой. Дома у меня можно было всегда найти книгу, я впервые в семье услышал и о деле Нечаева — читали о нем у нас вслух по „Современным Известиям“ Гилярова-Платонова², что разжигало во мне нелюбовь к фабрике еще больше. Я старался от фабрики уйти, поддавался соблазнам скитальческой жизни, готов был разъезжать с труппой актеров, хотя бы в качестве ламповщика, мечтал о роли ярмарочного раешника, готовился к этому, составляя к будущим своим картинам прибауточный текст, что может быть и было первым толчком к моей не совсем удачной литературной деятельности.

К мечтам о скитальчестве прислушивались и мои товарищи, — я около себя создавал протестантов против фабрики. И вот мы, более решительные, втроем, с котомками за плечами и с посохами в руках, очутились на извилистых проселках деревень и на прямых, как стрела, аракчеевских саженых дорогах, соединяющих города и села, тогда еще богомольной, но уже ищущей новой жизни России.

В дороге нам все-таки пришлось между собой размолвиться, и домой мы возвращались все трое по одиночке, пройдя пешком более чем по 2 тысячи верст.

Чтобы себя легализовать, мы путешествовали под видом странников-богомольцев, перебивали во всех крупных монастырях, что на мне, тогда еще человеке религиозном, отозвалось значительным отходом от церкви, большим душевным надломом. И я, бегущий от фабрики, думал, что жизнь деревень изобилует многими хорошими сторонами жизни, что фабрику на деревню можно променять, но за это время пешего хождения я пришел к тому убеждению, что везде живется не сладко, что жалобы рабочих и крестьян на свои житейские тяготы одинаковы, горечь жизни пьют они из одного ковша, черпают эту горечь из одного ямника.

Это мое путешествие относится к 1885 году, в августе которого я вернулся домой, а в сентябре этого же года, как отголосок знаменитой орехово-зубовской³ забастовки, забурлил и наш город многотысячной бунтующей массой рабочих.

Я как безработный тоже вмешался в эту рабочую массу. Не наговорившись досыта во время путешествия с крестьянами, конечно я не молчал и с рабочими. Пусть эта была не агитация как посланника какой-нибудь организации, все же голос мой здесь звучал в унисон с теми голосами бунтующей массы, у которой со мной был один язык протеста, на котором я еще так недавно говорил со своими товарищами по путешествию. Ведь и все-то это движение проходило под влиянием прямых действий одиночек, неорганизованно, но все же под знаком настоящего рабочего движения, к которому пришлось примкнуть и мне.

Но такое мое одиночество, настроенное на общественный лад, продолжалось не долго. На нашей Думе-горе Покровской⁴, в этом главном штабе всех мятущихся ивановцев, ищущих и алчущих душ, где можно было всегда разговориться с людьми, совсем незнакомыми друг с другом, осенью того же 1885 г. я знакоюсь с Иваном Осиповичем Слуховским и в первые же дни этого нового знакомства я перед И. О. Слуховским,⁵ в присутствии А. А. Кондратьева (старшего из трех братьев-революционеров), держу экзамен-исповедь по религиозным и политическим убеждениям.

Мои экзаменаторы-духовники были люди со средним образованием, значительно интеллигентнее меня, но все же я после этого экзамена становлюсь близким человеком к их организованному в два человека кружковому ядру революционной мысли, конспиративных товарищеских отношений и самых крайних радикальных взглядов на литературу.

Кружок наш⁶, в смысле его численного роста, развивался медленно, но мы так или иначе вели идейную пропаганду и к 1890 г., когда мы здесь были отысканы народовольцем Спасским-Сабанеевым, объезжавшим в то время с организаторской целью Поволжье, мы своих единомышленников насчитывали уже десятками. Мы имели большую связь с Шуей, а последняя связывалась и с Владимиром—члены нашего кружка были и в Шуе, и в некоторых деревнях.

Помимо нашего подполья в это время здесь существовало еще и литературное подполье, в котором группа рабочих, служащих и учащихся издавала рукописный журнал „Первые проблески“, куда и я был приглашен. В качестве „литераторов“ в этой группе были и другие заинтересованные члены нашего кружка. Решено было некоторую часть этих „литераторов“ использовать, вовлечь в нашу работу, что и было сделано, и наши ряды ими были значительно пополнены. Об этом литературном подполье и будет итти главным образом речь в дальнейшем.

2

В начале девяностых годов, в один прекрасный день, когда на обывательском горизонте ничего не предвещало и вековая тишина казалась

непоколебимой, совсем неожиданно произошли в нашем городе аресты и обыски, да еще днем и у всех на глазах. Поднялась обычная шумиха, давшая воображению обывателя обильную пищу. На улицах появилась „черная карета“, число арестованных было значительно преувеличено, многие из нас переименованы в „студентов“.

Жандармские визиты нам были нанесены по доносу некоего Соколова, человека видимо плохо разбиравшегося в том, чем мы в своем кружке занимались. Благодаря этому часть подвергнувшихся в те дни обыску была мало или совсем непричастна к нашему кружку. За счет этих людей и нам пришлось отделаться значительно легче, ибо жандармы так и не установили того, что тогда почиталось за государственную опасность.

В то время мы поднимали только целину никем не затронутых возможностей для трудовой и учащейся молодежи, способной жить не потоповски, а по-новому—более свободно и самостоятельно. Мы до некоторой степени явились прологом для ивановского совсем нового десятилетия с его новыми хозяйственными формами, что потом создало и более широкую арену борьбы для рабочего класса. Это был первопутек — экскурс в область законом запрещенного, вторжение нашей критической мысли в область бытового консерватизма и религиозного оскотенения.

Да и жандармы того времени, в особенности рядовые церберы, не имея большой практики, шли тоже первопутком в своей противной деятельности; в чтении чужих душ они были еще крайне малограмотны.

Рядовой жандарм Калинин, роясь при первом обыске в моих бумагах, набрел на мое стихотворение „Дуб“, ухватился за него и, передавая его своему старшему начальству, сказал: „Тут что-то есть“. А стихотворение может быть и было наваяно какой-нибудь человеческой потерей, но все же оно было только стихотворением пейзажным и начиналось так:

Упал, вот, и ты под грозой,
Не выдержал бури, мой дуб...

Должно быть слова „гроза“ и „буря“ казались опасными не только для дуба, но и для жандарма Калинина, но оттого, что в простом изложении человеческой мысли ищут опасных слов, я почувствовал только сладость запретного плода, гордость от своего сознания, что я мыслю, и в этом я видел первое свое приобщение к делу своих учителей — близких мне писателей.

Я был не первый и не последний из зачинателей пролетарской поэзии, и не у одного меня были читателями жандармы. После них мне всегда приходилось за себя и за других говорить, что мы:

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Такая медленная, затяжная весна меня не торопила писать, а заставляла оглядываться, прислушиваться к ночным звукам гонцов от приказного порядка. Писал я мало, а печатался еще меньше, со столичными издателями ничего не выходило, а провинциальные были наперечет, и моя библиография ограничивается только последними; похожим на профессионала-писателя я стал только после Октября.

Возможно, что на моем творчестве лежит печать провинциализма. Я это и сам чувствую и объясняю тем, что редакторы провинциальных изданий, где я печатался, гонорара не платили, были ко мне не требовательны, от них я только и слышал, что их издание на ладан дышет. Приходилось работать на „умирающих“, ухаживать за больными. И нередко над „умирающими“ стоял некто в синем, чьи цензорские показа-

Р. Е. СЕМЕНЧИКОВ

Собрание А. Е. Ноздрина, Иваново



ния не шли дальше предугадывания — „тут что-то есть“; редакторам было не до упора на пролетарскую литературу, они приглашали с собой мыслить заодно: сейчас нам „не до жиру, быть бы живу“. Приходилось переходить на рукописную литературу, уходить в подполье. Положение куда было лучше, когда наш брат попадал в тюрьму, где обстановка располагала к литературным занятиям, ибо за них особо отвечать не приходилось. Тюремным сидельцам казалось, что тюремные стены от этого раздвигались, они казались сами себе людьми, через это они как бы договаривались с тем, что было вне тюремных стен.

Роман Семенчиков⁷, ивановский рабочий-поэт, совсем молодым заморенный в Сибири, вот как определил призвание пролетарского поэта:

В руки я лиру взял, да не звучную,
Я на ниву вступил, да не тучную.
Я вам песни спою не небесные,
Сказки вам расскажу не чудесные.
Не скажу я привет сердцу праздному,
Не скажу похвалы безобразному.
Нет, я жизни хочу для себя и других,
Сколько силы найду, послужу я для них.
Буду петь до конца о великом труде,
Буду рваться всегда помогать их нужде.

Биограф Р. Семенчикова А. Н. Рябинин одно из своих стихотворений заканчивает словами:

Великое было, прекрасное будет...

„Великое“ — деяние революции, „прекрасное“ — расцвет искусств после окончательных побед пролетариата.

Вслед за Р. Семенчиковым, чье призвание как пролетарского поэта определялось в служении своему классу, борьбе за него, шли и другие, чье участие в деле революции не прекращалось и во время тюремных

отсидок. Здесь не было отчаяния среди обреченных, а горела в них живая потенциальная сила, мудрость рабочего класса, выдвигаемого им актива.

Павел Постышев⁸ и Павел Симонов⁹, оба ивановцы, политкаторжане Владимирского централа, были втиснуты в камеру уголовных. В заботах друг о друге, чтобы не быть обиженными соседями по камере, они ухитрялись среди классического мата уголовных писать коллективно стихи, как бы ими выветривая камеру от параши, и их объединение на этом сказывалось в таких словах:

Хочется видеть, как сосны и ели
 Дремят в родимом краю,
 Слушать в лесу соловьиные трели,
 Хочется петь самому.
 Петь, не смолкая, про радость и горе,
 Сбросить оковы и петь.
 Петь про любовь, про широкое море,
 Волнами моря кипеть.

Нам могут сказать, что эта литература все-таки не большого мастерства. Но ведь на пути от фабричных до тюремных корпусов наши поэты не знали никакой учебы, на своем пути не встречали книжного богатства, у них не всегда было даже законченное низшее образование. И если в их стихах нет утонченности, эстетического смакования, то найдется что-то другое, оправдывающее их.

Великое есть, прекрасное будет...

„Великое есть“ — шестнадцать лет побед Октябрьской революции, полтора десятка лет неслыханного строительства, уничтожение старого буржуазного мира.

„Прекрасное будет“ — в отражении, в отзвуки, в преломлении слов, красок и линий, которые придут вместе с новостройками, и шестнадцать лет побед в их оформлении найдут особое цветение, более красочное, чем все старое, более возвеличенное и облагороженное, чем все уходящее, сдающее свои твердыни.

У истоков пролетарской литературы нашего Иванова всегда наблюдалось два течения: одно шло по линии общественно-революционной, а другое по линии общественно-сатирической. У первого течения стиль был тюремно-нелегальный, а у второго — балагурно-обличительный, но шли они от одного источника, создавались на почве постоянных антагонизмов. Первое зарождалось в нелегальных рабочих кружках, в классовой непримиримости к хозяевам положения, к их системе выжимания пота. Второе течение было оформлением фабрично-заводского балагурства, за которым коротали и которым подгоняли время тогдашнего двенадцати- и даже четырнадцатичасового рабочего дня. В этом течении антагонизмы были другого порядка: неприязнь к чужакам-наекам, в сущности выручавшим городское коренное население, и неприязнь пришельцев к старому городскому населению, особенно той его части, которая была в плену „древнего благочестия“ со всеми особенностями старообрядческого быта и укоренившихся традиций старого города.

В погоне за высмеиванием друг друга, когда какая-нибудь шутка нуждалась в литературном оформлении, победа оказывалась на стороне пришлового населения. Мастеров на это у нас было два: И. Н. Веселовский и Трифонов-Берендей. Оба граверы, оба были весьма популярны в граверных мастерских и вне их; их рукописи усердно размножались, и в устной передаче их стихи кое-где сохранились и до сих пор. Они

производили значительный шум, но были поверхностны, в них часто не было начал объединения и сплочения рабочего класса, — наоборот, они служили его расщеплению и помогали внутриклассовой борьбе.

Веселовский иногда очень метко высмеивал старообрядческих попов, на этом он специализировался. У Трифонова тематика была значительно шире, но у того и другого смех часто был ради смеха, ради сатирического заушения, в угоду нетребовательным литературным вкусам, идейного безразличия. Это чаще всего была любительская иконография без всякой художественной ретуши характерных уродливых черт мещанина, обывателя. Лично я им на это указывал, но они не знали и не хотели знать другого критерия, кроме оценок своего брата — читателя-мастерового. Веселовский о нем говорил:

В „походячей“ серой паре
Он простой мастеровой.

Работал я одно время на фабрике Фокиных, считавшихся за людей богомольных и добрых. Праздничных дней у них было больше всех, не мало было и „родительских суббот“, и „великих пятниц“; из-за станка они нас гоняли на поминальные обеды и за работой часто оделяли булками в память их отцов и дедов. Когда на их фабрике появилась техническая интеллигенция и на ее долю стала перепадать прибыль предприятия, с каждого „выработанного куска“ ей начали приплачивать; выдавали техническим работникам и на большие праздники „наградные“, что им очень понравилось, и они начали говорить об упразднении целого ряда праздников. Фокины на это поддались, целый ряд святых был „рассчитан“, что я и отметил в одном из первых своих стихотворений.

Добрались и до святых
Фокины усердные.
Рассчитали они их,
Выдачи все медные.
Дело не в неверии,
А в расчете цифровом,
В главной бухгалтерии.—
Ни к чему-де божий чин
Славного и вечного,
Раз нет веры у машин,
То гулять им нечего.
Покровителей голандр
В святцах не отыщется,
Скажем Невский Александр
В цеховых не числится.

Наш город по числу выписываемых в то время газет и журналов, а также и по количеству библиотек и читален был городом совсем некультурным. Чувствовался определенный литературный голод. На почве этого голода в конце 80-х годов в небольшой группе учащейся и рабочей молодежи возникла мысль издавать рукописный журнал, и он выходил под названием „Первые проблески“. Инициатор этого дела, ученик реального училища Е. М. Крестов, в своей библиографической заметке о журнале дает такую ему характеристику: „Журнал претендовал на звание литературно-общественного органа с обязательной передовой статьями, а дальше шли стихи, проза, карикатуры, все отделы которых своим острием были направлены на мещанский уклад жизни, на его уродливые формы, на отсутствие в нем культурной обстановки. Одна

из передовых статей журнала давала основательный анализ бюджета рабочего, с неумеренными расходами на выпивку в „дачки“, на бешеные и некультурные расходы на нашей ярмарке. Статья заканчивалась выкриком: „Когда же придет настоящий день?“ Тот день, когда народ

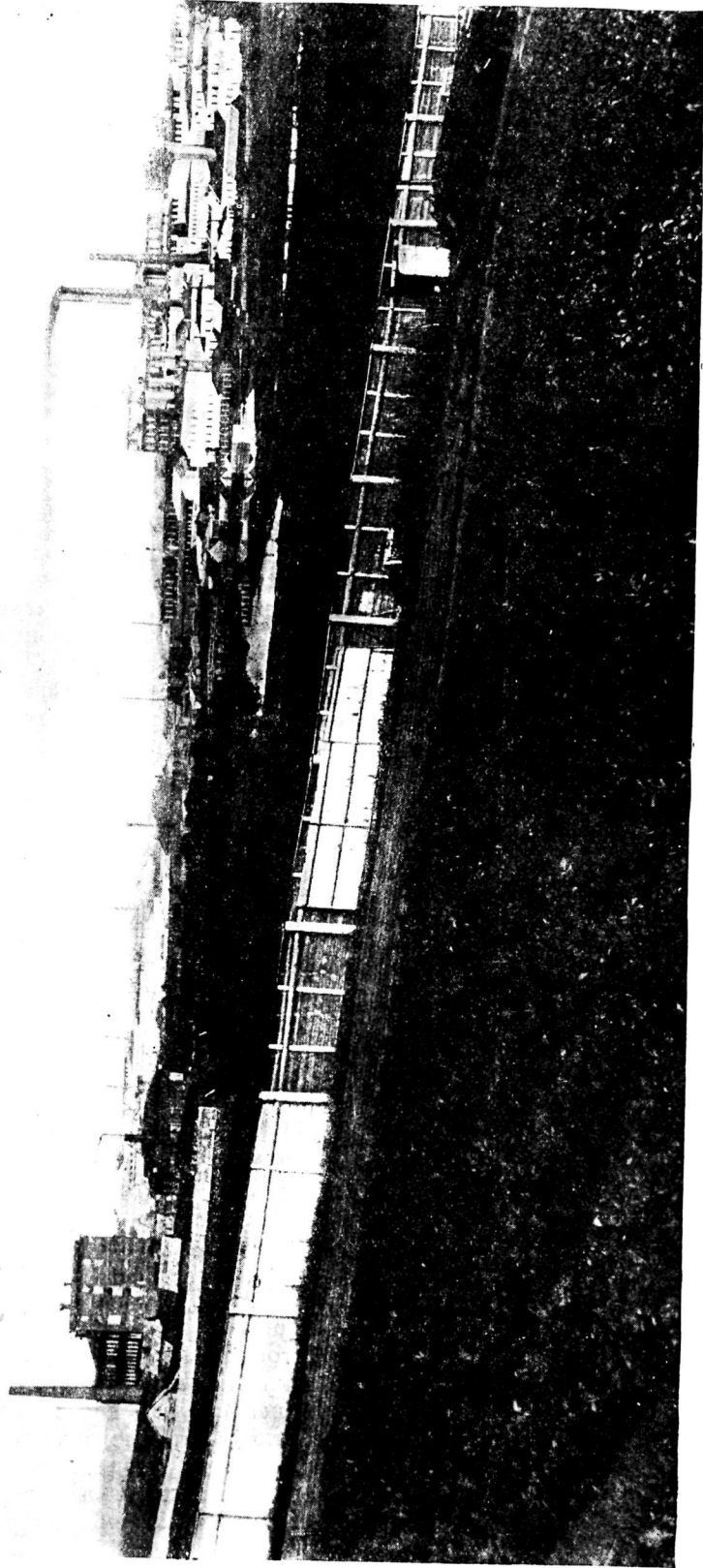
..... Не Блюхера
И не „Милорда“ глупого—
Белинского и Гоголя
С базара понесет.

Журнала „Первые проблески“ вышло три номера. В последнем номере в качестве литературного „советника“ принимал участие и я; туда я был введен Е. М. Крестовым. Но тут же вскоре мои советы приняли характер разрушительный, и так как этот журнал был мне не по душе, я это литературное гнездо все-таки решил разорить. Связанный с И. О. Слуховским другими интересами общественного порядка, среди сотрудников „Первых проблесков“ я набрал на несколько способных юношей. Задуманный тогда Слуховским кружок саморазвития, программа которого была значительно шире программы „Первых проблесков“, очень нуждался в работоспособных людях. Для объединения обеих групп была устроена встреча. Встреча происходила на квартире Слуховского. Когда было указано на конспиративный характер встречи, на то, что и нам нужен „настоящий день“, о котором наши новые знакомые писали в своем журнале, конспиративность их не смутила. Часть их в кружке Слуховского осела, осевшие прошли некоторого рода отбор, испытание по признаку их участия в обсуждении вопросов реалистического мировоззрения, общественной этики, искусства конспирации, критики художественной литературы и целого ряда других вопросов. Новобранцев из „Проблесков“, наших прозелитов, широко и довольно обстоятельно обслуживала редкая по тогдашнему времени библиотечка Слуховского, где имелись: Лассаль, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Тимирязев, Ренан, Джон-Стюарт Милль и др. Книги эти Слуховским охранялись самым тщательным образом, выдавались они на руки всегда с наказом оберегать их от домашних. Книга в то время в большинстве мещанских семей почиталась чуть ли не грехом. Я знал случаи, когда только за одни книги отцы преследовали своих детей, ссылали их, как мы тогда говорили, в места „не столь отдаленные“—на задний двор, в бани. В банях и происходили наши первые сходки. На этих сходках мы чувствовали себя не только безбожниками, но и заговорщиками, где нас тянуло и к сочинительству; „сочинителями“ нас звали и за то, что мы чаще других появлялись на улицах с книгами в руках.

Перекочевавшие к нам из „Проблесков“ сотрудники нашли применение своим способностям в составлении рефератов по экономическим вопросам; к числу практической учебы в кружке надо отнести и дискуссирование вопросов по художественной литературе. Слуховский знал много нелегальных стихотворений, особенно хорошо он читал стихотворение Ольхина „У гроба“ и стихотворение „Бог“ Беранже. Не изгонялась у нас и хорошая чистая лирика. Из этого цикла хорошо сохранилось в памяти стихотворение с началом и концом из таких двух стихов:

Как хороша была та ночь голубая,
Как ласкова была та бледная луна.

Знавшие, что я пишу стихи, тормозили и мое авторство, но собственная мне авторская застенчивость всегда удерживала меня от выступления; отговаривался я и тем, что я себя еще не нашел, да и мастерством стиха еще не овладел.



ОБЩИЙ ВИД ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ФАБРИК
Фотография 1890-х гг.
Музей Революции, Москва

Темы тогдашних моих стихотворений были связаны с трудовыми процессами; на эти темы навел меня Слуховский; он хотел во мне видеть поэта фабричных корпусов и ремесленных мастерских. В кружковых занятиях по вопросам этики нами было усвоено положение Джона-Стюарта Милля: „нравственно только то, что полезно“. Защищая это положение, мы защищали тогда и господствующую так называемую „теорию малых дел“, новых веж, практику которых красочно и убедительно разоблачал в своих „Очерках русской жизни“ Н. В. Шелгунов, создавший своими очерками около журнала „Русская Мысль“ большую читательскую аудиторию.

В кружке нашем имелись тенденциозные романы: „Что делать“ Чернышевского, „Шаг за шагом“ Омулевского, „Николай Негорев“ Кушевского, „Хроника села Смурина“ Засодимского; их мы выдвигали как литературу полезную, литературу первой очереди. Эти романы разрешали и мои литературные вопросы: о чем писать и что наиболее существенно важно в содержании литературно-художественных произведений.

Практическое осуществление „теории малых дел“ шло и дальше нашей книжной пропаганды; мы начали измерять эту теорию практикой местных благотворителей и благотворительниц. Мы защищали гимназисток, „кухаркиных детей“, девушек, живущих улицей, актрис, обиженных антрепренером, рабочих и работниц, обманутых фабричной инспекцией. Писали по поводу этих событий письма именитым адресатам, а когда на эти письма долго не отвечали, добивались с ними непосредственных встреч, на что был хороший мастер сам главарь нашего кружка. Встречали его наши общественники иногда очень любезно, на словах не отказывались и от помощи, а провожали в догонку, как мы тогда догадывались, конечно улыбками, пожатием плеч, вздохами облегчения, что наконец-то они расстались с непрошеным гостем, с небывалым для их обстановки визитом.

Бесполезное писание писем, остававшихся чаще всего без ответа, навело нас на мысль, что для таких дел пора нашему городу иметь газету, от рукописных „Первых проблесков“ перейти к какому-нибудь печатному „Русскому Манчестеру“.

С наименованием предполагаемой газеты „Русский Манчестер“ Слуховский отправился к предполагаемому ее соиздателю Н. А. Ясюнинскому, кохомскому фабриканту, инженеру-технологу, знакомому нам по любительскому театру. Слуховский от Ясюнинского вернулся с такой обещанной цифрой денег, что мы как-то этому и не верили. Денежную сумму в 10 тысяч рублей мы едва-едва выговаривали и тут же подумали, да не красивый ли это только жест—ведь Ясюнинский прекрасно знает, но скромно умалчивает, что газета в Иванове неосуществима, что это мечта, утопия.

Так и случилось. Когда Слуховский после обещания Ясюнинского дать денег для газеты начал искать типографию и остановился на типографии Александровских, то тут и была погребена наша газетная литературная мечта. Александровские до нас сами собирались выпускать газету, но в этом со стороны Главного управления по делам печати им было отказано. А один чиновник из Петербурга им между прочим писал, что обратиться они непосредственно с этим делом к нему, то через взятку кое-что еще можно будет сделать. В указанном комитете печати существовал такой порядок: когда какому-нибудь провинциальному городу первоначально отказывали в газете, то все последующие подобные ходатайства отклонялись механически, без всякого их рассмотрения.

3

Вспыхнувшая мечта о газете погасла, и для нашей практики „малых дел“ почвы в этой области не оказалось; тогда мы эту практику постановили перенести из города в деревню, сесть на землю и своим намеченным опытным садово-огородным хозяйством помогать деревенскому зерновому хозяйству.

Для осуществления этого у нас были увлечение, молодость, совсем незначительные средства и кое-какая специальная садово-огородная литература. Место для огорода мы избрали под Кинешмой, в деревне Малое Жажлево. Отправились туда вдвоем: В. Н. Ларионов, И. С. Слуховский и я. Тяжелая огородная работа ни у кого из нас не отбивала потребности сближения с деревенским населением и с рабочими Поволжья, к которым мы ходили в свободное время на приработки грузить дрова.

Среди местного населения изредка встречались бывшие матросы военного и гражданского дальнего плавания, побывавшие в кругосветном путешествии; с них-то, как с людей более культурных, мы и начинали свою хозяйственную пропаганду, подсовывали им помимо специальной литературы—Засодимского—„Хронику села Смурина“, стихи Некрасова. От своих читателей, новых знакомых по огородному хозяйству, нам приходилось слышать, как надо понимать такие стихи Некрасова:

Средь мира дальнего,
Для сердца вольного
Есть два пути:
Одна просторная
Дорога торная,
Страстей раба.
Другая тесная,
Дорога честная,—
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд.
Иди к обиженным,
Иди к униженным,
По их стопам.
Где трудно дышится,
Где горе слышится —
Будь первый там.

Разговоры об этом нам конечно стали казаться наводящими на мысль, что наши новые знакомые догадываются, зачем мы приехали к ним в Жажлево. То же самое слышалось и в конце наших бесед. А беседы наши начали заканчиваться с их стороны фразами и, как нам казалось, не случайными:

„А в деревне у нас опять толкался урядник...“

Мы были на подозрении. Летом 1890 г. нашим кружком в Иваново была распространена прокламация, которая у ивановской полиции и жандармерии стала большой занозой, беспокоившей их. Посещение Жажлева урядником мы начали считать подозрительным, нам оно казалось нащупыванием следов виновников распространения прокламации. Пришлось насторожиться, задуматься над возможностью ареста. Наш товарищ Ларионов был семейным, имел детей, семья при его аресте могла очутиться в беспомощном состоянии, а налицо была хозяйственная не-

удача: огород наш хорошего урожая не обещал. Решено было его ликвидировать с таким расчетом: арендуемая нами земля под огородом принадлежала родственнику Ларионова, которому в случае того или иного краха и решено было ее вернуть. Я со Слуховским вернулся в Иваново, тем более что там без нас дело начало расползаться, кружок наш начал хиреть.

Наши попытки осесть на земле были похожи по форме на существовавшие в то время „культурные скиты“, называвшиеся „толстовскими колониями“, на самом деле „толстовцами“ мы никогда не были, толстовская проповедь тех времен нашему кружку была чужда. Мы жили в городе рабочих, рабочие были и в нашем кружке. В природе такого положения вещей несомненно должны быть заложены элементы борьбы, и эта борьба за освобождение рабочего класса нами мыслилась и признавалась. Пусть ее практика была незначительна, но сказать, что ее совсем не было, никак нельзя. Мы со своим реалистическим, материалистическим мировоззрением, чуждым всякой мистики, не могли считать себя только культурниками-книжниками.

Во временном нашем увлечении практикой „теории малых дел“ мы, как нам думалось, встречаемся с реальной возможностью, где слово с делом не должно расходиться и при полном их взаимном соответствии должно дать какие-то ощутительные результаты. Мы что-то делали, чему-то учились, но скоро убедились в том, что дамы-филантропки, к которым мы обращались, — скорее наши враги, чем друзья. А где враги — там должна быть и борьба. В деревне мы встретили другую картину. Практика „малых дел“ тургеневского Соломина из „Нови“, его проповедь, как и чем можно помочь деревне, оказалась несостоятельной. Соломинская туалетная установка, — если встретишь в деревне непричесанного и неумытого мальчика-заморыша, то причеши и умой его, и это будет большим культурным служением народу, — в нашей практике „малых дел“ не нашла реального отражения. Когда мы пригляделись к деревне, то она нам вся, со всеми ее потрохами, показалась неумойтой, непричесанной. Деревня была нища и бестолкова, прикрашивание ее по-соломински оказалось бесцельным рекраснодушием. Без массовой встряски ее, без коренной ломки в ней ничего не поделаешь. На этом мы строили свои взгляды. Деревня и город у нас становились безраздельными, заботы о них — объединенными, чему способствовало и то положение, что в наших краях чистокровного пролетария не было, а была разновидность мужика и крестьянина, в силу чего и наша рабочая поэзия была часто поэзией переклички города с деревней или наоборот — деревни с городом. Кружок наш был хорошо законспирирован, но его бытие как-то просочилось наружу, докатилось до предательского слуха некоего Соколова. Ожидаемая нами встреча с жандармами стала фактом, в городе она наделала много шума, а в Малом Жажлеве шума больше не было, хотя жандармы и там были. Появление жандармов заставило местное население лишний раз почесать в затылке, богомольных баб пошущукаться, а старика, владельца земли под огородом, запугало так, что он нашествия полиции не выдержал: взял да и помер.

Следствие по нашему делу было непродолжительно. Несколько дольше оно задержалось на нашей прокламации, которую жандармам приписать нам никак не удалось. Искусство держаться на допросах нами было воспринято; на этом мы тренировались в конце каждой нашей сходки. И таким образом выдержали перед жандармами полный экзамен. К нашим личным показаниям со стороны Слуховского прибавлена была дополнительная характеристика.

И. О. СЛУХОВСКИЙ

Фотография 1900-х гг.

Собрание А. Е. Ноздрина, Иваново



Мне он приписал знание Пушкина, выдал меня за знатока его поэзии. Но это не совсем верно: мне был ближе и созвучнее Некрасов. И после того как мне были возвращены жандармами книги и рукописи, я кой-чего из последних не досчитался; таким образом в жандармские архивы я внес свои первые якобы нелегальные стихи. Позднее я попытался восстановить их, и память мне в этом не отказала.

Нашествие жандармов определило наш удельный вес. Этот критерий стойкости человеческого духа нас расклинил, мы разошлись в разные стороны: от начатой революционной работы, хотя и робкой, одни отошли совсем, другие временно, а третьи — исключительно рабочая часть — тут же переключались в новый рабочий кружок Ф. А. Кондратьева, уже с ярко выраженной марксистской окраской.

Грубой и подлой измены идеалам нашей юности ни у кого из нас не было. А культурная зарядка этих лет нам привилась необычайно крепко. Знания, идейная художественная литература, во многих случаях общественная культурная работа стали нашим инвентарем в дальнейшем жизненном пути, постоянной переключкой с незабываемым светлым прошлым.

Время шло. Город культурно не рос. Нас опережали города-соседи.

Ярославлем в Иваново было открыто отделение его газеты „Северный Край“¹⁰, куда я в качестве подписчика пришел чуть ли не первым. Заведующему отделением я должно быть показался пишущим, он мне предложил корреспондировать в газету, а я ему предложил стихи, — он и от этого не отказался. Стихи в газету были посланы, началось обычное тревожное ожидание ответа. Несколько редакторских ответов от столичных журналов я уже имел, но только через почтовый ящик. Почтовые ящики я называл сухой гильотиной глумления. Я любил их читать, они меня кое-чему научили, но я всегда думал, что в них любили резать головы больше провинции, чем столице; эти операции выпадали и на мою голову. А потом я и сам очутился в столице, работал на одной из фабрик в тогдашнем Петербурге, где попытался было свя-

заться с журналом „Живописное Обозрение“, но я и тут попал под нож сухой гильотины. В то же время я начал переписываться с Валерием Яковлевичем Брюсовым, решил через него проверить свои поэтические способности. Брюсов мои стихи тогда читал своим соратникам. В одном из ответов на мои письма он привел мнение о моих стихах поэта, тогда ему близкого, Александра Муромского, что человек, написавший такие два стиха:

Ночь — старуха богомольная —
Миллион лампад затеплила,

должен безусловно почитаться как поэт. После этого я начал себя считать „признанным“, хотя оценка тогдашних моих стихов исходила от утонченных эстетов.

В „Северном Крае“ я не встретил такого сурового приема к моей тематике. И я был очень польщен, когда в нем появилось мое первое печатное стихотворение.

Н О Ч Ь Ю

Кашлем, плачем, стоном,
Кто во что горазд,
Будят мать в постели
В неурочный час.
Грудь нужна ребенку,
А другому пить,
Просит батька хворый
Трубку раскурить.
Всем и все достала
Мученица-мать
И малютку в люльке
Начала качать.
Застучали в двери.
Проклятая ночь!
Из пивных, кофеен
Воротилась дочь.
Будут разговоры:
Дочка под хмельком,
Дочка не уступит
Матери ни в чем.
Выскажет угрозы,
Что совсем уйдет —
И у ног родимой
Вся в слезах уснет.

Печатались в этой газете и другие мои стихи, переписки по поводу которых со мною никакой не велось и редакционных поправок в них я никогда не встречал. Уже позднее я узнал, что рукописи стихов в этой редакции складывались на одном из подоконников. Они были запасным подверсточным фондом и хозяином их был иногда метранпаж; когда он нуждался в подверсточном материале, то в эти стихотворные недра запускать свои руки и извлекал оттуда то, что ему подходило по количеству строк. Прозе эта газета уделяла большое внимание, в ней хорошо был поставлен „Областной отдел“. Если писать историю рабселькоровского движения, то надо сказать, что его истоки надо искать именно в газете „Северный Край“.

С поэтами, выходцами из рабочей среды, в смысле их учебы и воспитания поступали не лучше провинциальных газет и столичные толстые журналы.

В декабрьской книжке „Русского Богатства“ за 1900 г. была напечатана статья В. Додонова „Русский Манчестер“. Один из разделов этой статьи имел громкое название „Рабочий поэт“.

Рабочему поэту, Ивану Фролову, о котором повествует Додонов, было уже сорок лет, а он продолжал писать стихи и в таком возрасте, нигде их не печатая. Фролов работал в лаборатории на ситцевой фабрике, жил в деревне, не бросая сельского хозяйства... Фролову как человеку и поэту Додонов дал такую характеристику: „В духовном отношении он стоит неизмеримо выше окружающей среды. Ему свойственно тонкое понимание природы. Как видно, после гула и смрада фабрики природа каждый раз с новой силой действует на душу фабричного“.

В самом же стиле стихов Фролова нет ничего такого, что бы вышло его над такими поэтами, как нами ниже указанные Веселовский и Трифонов. Поэти ни одним краешком не захватила бурная волна стачечного движения 90-х годов, его имя не упоминается среди вождей этого движения и рядовых его членов. За ним остается несомненное поэтическое дарование, но это дарование вне идейной тематики, не овеяно оно переживаниями не только передовых рабочих, но и всей рабочей массы в целом, в те годы начавшей показывать себя в кровной борьбе за свои рабочие интересы. В стихах Фролова нет и той культуры стиха, которая была например в стихах Семенчикова.

Из посещения „Русского Манчестера“ Додонов сделал выводы, что фабрика и четвертому поколению своих „учеников“ ничего не дала, все культурные блага — медицинская помощь, библиотеки, разумные развлечения и пр. — пришли извне, за счет земства, города и частной благотворительности, и поэт Фролов потянулся к свету культуры не от фабрики, а от посторонних влияний во время отбывания им военной повинности в одном из больших городов Западного края. Неужели же В. Додонову не было известно, как в те годы всякая самостоятельность рабочих в области культуры преследовалась и каралась тюрьмами и ссылками?

В дальнейшем поэт Фролов где-то затерялся. Так пропадали ни за что и другие даровитые выходцы из рабочей среды, когда их под свое покровительство брали Додоновы. На статью Додонова в том же „Русском Богатстве“ дал надлежащую отповедь С. П. Шестернин¹¹.

В защиту иваново-вознесенских рабочих Додонову была дана отповедь в заграничном приложении к „Искре“ № 9 за 1901 г.

Говоря о библиотечных читателях, Додонов подписался под тем, что „нет ни одной книги на дому в целом районе с 20 000 жителей“. Возможно, что „Русского Богатства“ в домах этих тысяч не было. Этот журнал еще во времена первых марксистских кружков считали чуждым рабочим, ибо для него фабрика была не культурным фактором, а рассадником пьянства и невежества, язвой народа. Отповедь Додонову „Искра“ заканчивает тем, что „из Иваново-Вознесенска высылают рабочих не менее интеллигентных, чем Иван Фролов, хотя может быть они и не занимаются стихами. Выходит даже некоторая аналогия с университетом: как университет выпускает и высылает часть „света“ и „культуры“ в разные уголки России, так точно и Иваново-Вознесенск рассылает со своими рабочими „свет культуры“ во все концы России“.

Отповеди О. П. Шестернина и И. В. Бабушкина из „Искры“ можно дополнить еще приподнятием редакционной завесы „Русского Богатства“ — сказать о том, как додоновская статья редактировалась.

В одном из писем В. Г. Короленко к Н. К. Михайловскому¹² есть такое место: „б) статья Додонова „Русский Манчестер“. Об этом уже были разговоры. Н. Ф. Анненский возражал против цифр. — Я написал автору, что можно поместить лишь при сильных сокращениях. Он ответил, что если „Р. Б.“ поместит лишь часть статьи, — он все-таки предпочитает напечатать у нас, чем всю в другом журнале. Я целиком выкинул почти две главы, цифры сократил тоже довольно радикально и теперь полагаю, статья довольно пригодна. Касается вопроса интересного, несколько легковесна, но довольно жива“ и т. д. Хорошо признание, что статья „легковесна“, но печатать все-таки надо как документ антимарксистский, опорочивающий фабрику, опровергающий утверждение, что лучшим проводником всякой культуры является фабрика, а тут они поймали с поличным и на таком крупном участке, как „Русский Манчестер“. Неизвестно, о чем главы и какие цифры были удалены из статьи Додонова, и называть ее после такой редакционной трепки статьей „довольно живой“ пожалуй неудобно, она вернее была не живой в обработке „Русского Богатства“, а угодной только народническим тенденциям.

Нам пришлось найти и фроловский архив, оказавшийся в Ивановском облархиве. В неопубликованных стихах Фролова есть указание на то, что он на военной службе был ротным фельдшером и за какую-то особую помощь одному из солдат был посажен в карцер. Оказывается и в Западном крае солдатская казарма была только казармой и говорить о ней как о культурной школе нельзя. Додонов и в этом случае солгал.

В архивной фроловской папке имеются еще стихи другого фабричного поэта — Федора Шатунина. Этот культурную зарядку получил в школе, в фабричной обстановке, и жил воспоминаниями о ней.

Фролов и Шатунин уже были на полдороге к тому, чтобы запеть голосом пролетарских поэтов, но им не у кого было учиться, а когда они попадали на Додоновых, то Додоновы за счет их только клеветали на рабочий класс и свою клевету выдавали за познание России.

4

И насколько же я был счастливее Фролова и Шатунина, когда на мою долю выпали такие два учителя, как Иван Слуховский и Валерий Яковлевич Брюсов.

Я писал — они меня поправляли, я говорил — они меня в нужных местах останавливали. Помню мое восхищение лермонтовским „Демоном“, его клятвой, а Валерий Яковлевич называл ее мещанской, отсылая меня к клятве Пушкина, говорил: „Помните его стихи

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянусь утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой.

Здесь чувствуется то, будто это говорит и не человек, а существо выше человека, а Лермонтов Демона сделал мещанином“.

„Шуты и дети часто говорят правду, — продолжал Брюсов, — и это шекспировское выражение я позволю себе повторить и иллюстрировать его одним анекдотом“.

Здесь Брюсов заговорил о своем любимом поэте Тютчеве. Тютчев был представлен маленькому мальчику, знавшему его стихи. И мальчик был не мало удивлен тому, когда увидал, что любимые его стихи принадлежат какому-то седенькому старичку. И он, удивляясь этой встрече,

сказал: „А я думал, что их написал ангел“. „Вот тот художественный критерий детской правды, — сказал Брюсов, — который можно применить и к пушкинской клятве, сказать о ней, что и она написана какими-то сверхчеловеческими поэтическими средствами“. При другой встрече он о Лермонтове говорил уже по-другому; его поэму „Мцыри“ он называл недостижимой высотой. Казалось, что он хотел себя поправить, изменить свой взгляд на Лермонтова. Без Тютчева не обошлась и эта встреча; он восхищался тютчевскими рифмами „демоном“, „Неманом“ из стихотворения „Наполеон“. От Наполеона он перешел к оценке французского правительства, которое, по его мнению, после дела Дрейфуса вынесло самому себе смертный приговор. Брюсов возмущался размножением в миллионах экземпляров речи какого-то члена французской палаты депутатов и удивлялся тому, что это происходит в стране, давшей... Тут он упомянул запечатанное мной имя какого-то египтолога. Как он в этот момент не был похож на первые книги своих стихов, молодой по годам, а этой молодости я в нем не видел. Он был серьезен и внушителен, с чем очень гармонировала обстановка его квартиры.

Жил он тогда на Цветном бульваре. Мебель его квартиры — красного дерева, цвета переплета старой псалтыри — вызывала на какое-то особенное внимание к ней и к ее хозяину. Вся обстановка старокупеческая, но без обычных лампад и псалтыря у божницы.

Серьезность ее хозяина и солидность ее обстановки меня подмывали спросить его, что значит его стихотворение „О закрой свои бледные ноги!“

Думал я этим вопросом его заставить улыбнуться, но этого я не достиг.

„Вы затронули довольно интересный вопрос... — И он с такой же серьезностью, с какой говорил о Пушкине и Лермонтове, начал объяснять значение его „бледных ног“. — Большинство пишущих старается писать по количеству строк многострочные вещи, боясь писать стихи в одну-две строчки, как бы их не приняли только за фрагменты. Я же этот вопрос своими „ногами“ разрешаю так: стихотворение и в одну строку должно иметь все права своего гражданства как форма афористическая. Афоризма в моих „ногах“ нет, здесь я к этому подошел пока только формально. Вот Бальмонт недавно мне читал свое стихотворение „Хочу быть смелым, хочу быть дерзким“... А своего стихотворения в одну строку „И никого, и ничего“ напечатать не дерзает. А ведь он ваш шуянин, из города рабочих, немного причастен и к революционному движению, а в области литературы он революционер только на словах“.

Были у нас разговоры и о том: надо ли издавать и печатать отдельных авторов, когда они еще не нашли себя, не самоопределились: кто они? и что они?

„Процесс самоопределения, поиски себя, их полнота и сложность переживаний при хорошей их подаче должны расцениваться в положительном смысле. Ведь пути к истине, — сказал Валерий Яковлевич, — часто бывают выше самой достигнутой цели“.

Остановился он как-то и на мне как на авторе, которого пора печатать и издавать. Он во мне находил оригинальными и такие приемы, когда в свои стихи я вводил цифры, писал о семи цветах радуги, о семи звездах Медведицы или:

Мы волны считали, седьмая, восьмая;

И вот роковая нашла...

И вздрогнула наша семья небольшая,

Когда нас она обняла.

В. Я. в это время замышлял издать хрестоматию современной поэзии по образцу германской, изданной Францем Эварсом, куда он намерен был втиснуть и меня.

Издание это по каким-то причинам не состоялось, и тогда он оставался на другом плане: решил выпустить мои стихи отдельной книжечкой. Однако и это издание не состоялось. Повторилась моя авторская застенчивость, пугала меня и упадочность некоторых стихотворений предполагаемой книжки, и явное противоречие — несходство моих обычных настроений с переданным в ней, где я собирался

Плыть к островам небывалого,
К гаваням вечной весны,
Где меня ждут как усталого
Гостя холодной страны.

Не отвечали моим новым настроениям и такие стихи задуманной Брюсовым книжки:

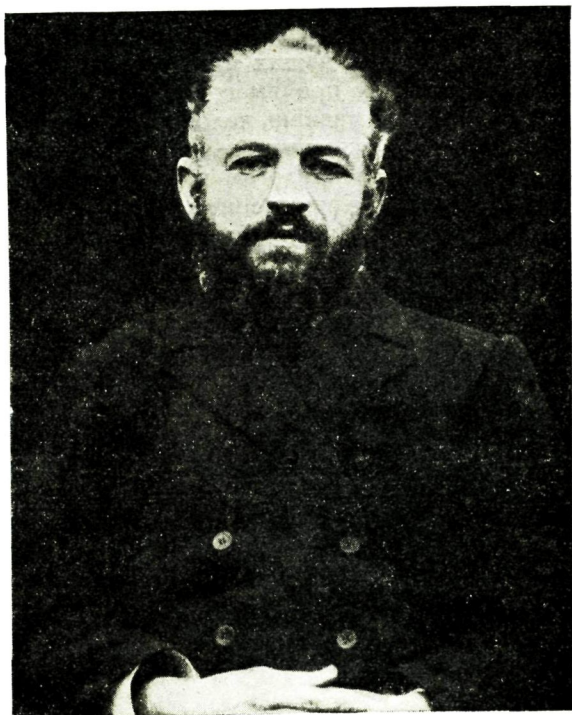
Мы робко с волною воюем,
Возможно ли здесь устоять,
Где бурный прилив неминуем,
А пристани нет — не видать.

Стихи эти были петербургского периода моей переписки с Брюсовым, словарь и образы которых были навеяны Финским заливом, его пристанями, судами и братанием на этих пристанях русских рабочих с иностранцами-матросами. Но в этих стихах была и полная оторванность от излюбленной моей тематики родного рабочего города, хотя и на питерской фабрике, где я работал, меня знали и вне моей мастерской.

Когда я из Питера возвратился в Иваново и поступил работать на одну из самых захудалых фабрик Петра Дербенева, то на ней (да так было и на других местах) я встретил огромный рост сознания рабочих, встретил прослойку из рабочей массы, таких товарищей, с которыми можно было легко и безбоязненно говорить на какие угодно темы. Прошло каких-нибудь три-четыре года после разгрома нашего объединения, а на пустыре, отделявшем фабрику Дербенева от фабрики Полунина, в обеденный перерыв собиралось уже человек по 10—15, поднимавших тогда вопросы стачечного движения, борьбы с экономизмом, профессионального и кооперативного движения. Это были дневные сходки революционного подполья социал-демократических кружков. К дербеновским товарищам, среди которых были братья Воронины, П. Волков, В. Соловьев, С. Кисляков, В. Бардов и др., присоединился, будучи тогда еще подростком, Николай Грачев¹³. Он пришел на фабрику из столярной мастерской ко мне „под руку“ в качестве ученика-гравера. Начатки ремесла, стремление быть культурным и развитым рабочим Грачев приобрел еще до фабрики в ученическом кружке реалистов Александра Пророкова и Владимира Носкова¹⁴ — впоследствии очень видного большевика. Пророковский кружок издавал первый в Иванове ученический рукописный журнал, участником которого должен быть и Грачев. Имея под руками такого ученика, как Грачев, мне, не утратившему связи и с другими передовыми рабочими, приходилось не раз быть под обстрелом всевозможных вопросов. Это меня обязывало побольше знать, побольше читать, чтобы на задаваемые товарищами вопросы отвечать по существу: лжевсезнайкой я быть не хотел. И у меня эта эпоха приобретения знаний отодвинула стихотворство на задний план, я как поэт замолчал на целых семь лет.

Пришел 1905 год. Его революционная волна подхватила и меня, в те дни безработного, но связанного общественной работой с кооперацией и зарождающимся профессиональным движением. Я был членом правления общества потребителей и общества взаимопомощи фабричных граверов. Это обязывало меня встать в ряды восставших ивановских рабочих, и я оказался среди них своим человеком. О том, почему я оказался своим, да еще нужным человеком в такой момент массового рабочего движения, может вам рассказать книга М. А. Багаева „За десять лет“. Багаев пишет: „Иваново-вознесенская организация имела и свой хороший тыл. Этот тыл состоял из „Бабы-Мокры“ (Е. В. Иовлевой) и нескольких рабочих (А. В. Ноздрин и др.). Отошедшая временно от революционной работы Е. В. Иовлева формально не состояла членом организации; в течение семи лет, с 1896 по 1903 г., она оказывала всяческое содействие организации; во время обысков предупреждала товарищей о грозящей им опасности, а после жандармских разгромов собирала разбитые силы и потом передавала их преемникам в работе. Много помогали организации и стоящие так сказать в резерве товарищи, как например Ноздрин и др. У них приезжие товарищи могли получить ночевку, через них получить связь с той или другой группой рабочих, а кроме того они вели культурную подготовительную работу среди неорганизованных рабочих, благодаря чему приобрели такую популярность, что во время всеобщей иваново-вознесенской стачки 1905 г. Ноздрин, А. Е. был единогласно избран председателем первого совета рабочих депутатов“.

По современной терминологии роль моя в рабочем движении за целый ряд лет сводилась к так называемому „приводному ремню“, но эту приписываемую мне честь я хотел бы разделить с целым рядом наших спутников жизни, мне памятных и дорогих товарищей. Мне хочется на-



А. Е. НОЗДРИН

Фотография 1935 г.

Областной музей, Иваново

звать и их приводными ремнями, если можно так выразиться, „второй передачи“, чья помощь часто в весьма рискованных конспиративных делах была так необходима и всегда так жертвенно безупречна. Женщины старших возрастов, наши матери, всячески защищали своих дочерей и сыновей, когда им угрожали какие-либо репрессии. Подпольщик, профессионал-революционер В. Новиков, выдавший всякие виды, побывавший во многих уголках революционной России, в своих воспоминаниях¹⁵ об Иванове и ивановцах говорит следующее: „В то время, когда в Москве в большинстве случаев сознательные рабочие принимали участие в революционном движении или тайком от семьи, или при враждебном отношении части ее, или во всяком случае редки были случаи, когда вся семья от мала до велика была „сознательной“, — в Иваново-Вознесенске социалистов считали не по именам, а по домам. Там в партийной работе принимали участие не только отец, но и мать, сын и маленькая дочь, даже бабушка, если таковая была. Ивановские работницы, на 70 процентов заполнявшие текстильные фабрики, и в 1905 г. в большинстве своем не были настроены реакционно. Я не помню ни одного случая, когда бы они мешали активности своих мужей и братьев. Не случайно и в стихах своих я дал несколько зарисовок женщин-работниц, чьи руки ткали не только одни полотна, но и превращали их в знамена, на которых были революционно-могучие слова: „Освобождение рабочих — дело самих рабочих“. События 1905 г. помимо непосредственного участия в них привели меня к мысли вести запись всего происходившего. Может быть в будущем это кому-нибудь да пригодится. С этой целью я собирал в документах все, что касалось этих событий, завел дневник и начал набрасывать первые стихи задуманной мной поэмы „Ткачи“.

Дневник вел я и раньше. Еще во времена кружка И. О. Слуховского я ухватился за мысль Генриха Сенкевича. Его роман „Без догмата“ написан им в форме дневника, и самые первые слова его романа говорили вот о чем: „Несколько месяцев назад я встретил моего товарища и друга Иосифа Святыньского, который за последнее время занял крупное место среди наших писателей. В беседе со мной о литературе Святыньский между прочим говорил, что придает большое значение дневникам. По его мнению, человек, оставляя после себя дневники, дурно или хорошо написанные — это безразлично, лишь бы только искренне, дает будущим психологам и романистам не только картину современной ему жизни, но единственные правдивые данные, которым можно верить. Святыньский с уверенностью высказал мнение, что в будущем повести и романы примут исключительно форму дневников, утверждал даже, что тот, кто пишет дневник, несомненно работает в интересах общества и заслуживает его признательность“. С этого началось и мое писание дневников; это обязывал делать и 1905 г., когда фабрики перестали дымить, а фабриканты перестали разъезжать из дома на фабрику и обратно на рысках, когда погасли паровые топки, в особняках фабрикантов затеплились „неугасимые“ лампадки, а наш бивуак, раскинутый на Талке, жег свои огни, выжигая ими все ненавистное прошлое.

Литературные замыслы этого года ни в какой мере завершить не пришлось. Конец этого года ознаменовался выступлением контрреволюционных сил. Манифест 17 октября — эту царскую милость на словах — отцы города превратили в дело самой жестокой мести. Черной бандой я был приговорен к смерти, от возможного самосуда ушел за несколько минут, и вместо головы черносотенцы отыгрались только издевательством над женой, над детьми, над моим имуществом, квартирой. Сам же я уехал в Москву.

Как во время пожара спасают часто в первую очередь то, на что раньше меньше всего обращали внимания, или как во время свидания в тюрьме с близкими всегда говорят не о том, о чем бы надо было говорить, — так и я в последний момент перед погромами ничего не взял с собой нужного, ценного, даже и денег взял не столько, сколько их понадобилось в первые дни моего невольного скитания, поисков нового пристанища. Да и как тут можно было организованно думать, логически мыслить? Я только удивлялся себе, как это я, человек далеко не из храбрых, не торопился спастись от угрозы смерти? Крик и какой-то особый гул погромщиков был ясно слышен на дворе моей квартиры, а на уговоры семьи уйти я все еще не сдавался. И не будь около них посторонних, я мог бы быть убит или жестоко искалечен. И только друзья мои и семья сумели меня вытолкнуть за ворота, а один из них — Сергей Кожухов — предложил мне не бежать, когда он увидал, что погромщики от нас недалеко, в каких-нибудь ста шагах. А побегимы с ним, нам бы не сдобровать. Вдогонку были слышны только крики разъяренной толпы, да пение „Спаси, господи, люди твоя“. А мое достояние — книги, накопленные за двадцать лет рукописи, письма, дневники — все разом превратилось в добычу самых разнузданных, безотчетных страстей, на что, как мне передавали после, смотреть было страшней, чем на пожар.

Москва меня встретила добрыми революционными настроениями, ее барометр стоял на предгрозы, обещал бурю, и я в этом предгрозы скоро затерялся, от ран и обид быстро оправился. Ивановским беженцем в Москве я был не один, мы начали жить революционным землячеством, почти каждый день собирались на Малой Кудринской, в квартире Е. В. Иовлевой¹⁶. Ее квартира в это время походила на пороховой погреб. Хранились „апельсины“ македонского образца, тогда мы называли их еще тульскими пряниками. Они были привезены из Тулы. Вооруженное восстание, кормежка „пряниками“ врагов признавалась всеми гостями Е. В. А когда начались бои на Пресне, Е. В. ухитрялась поддерживать с ними связь, носила „бойцам“ поесть, что-то для них стряпала. Она жила годами на одном чае и ситном. Чай и ситный с изюмом были единственной ее слабостью. После революции 1905 г. она решила учиться массажу; стала массажисткой и начала практиковать. Среди ее пациентов был какой-то генерал, ее массаж и внимательное отношение к делу так понравились генералу, что он решил предложить ей замужество. Она могла бы сделать „блестящую партию“, но у нее уже была партия и не менее блестящая — партия Клавдюшек, Машек, Сашек. Так любила она называть своих товарок, и эту малоинтеллигентную среду работниц она не променяла на генерала. Ей должно быть трудно было расстаться и с московскими углами, и с чаем, и с ситным с изюмом. Изюм с чаем все-таки в конце концов сделал свое дело. Когда совершился Октябрьский переворот, Е. В. не сумела ориентироваться в новой сложной обстановке. Она начала отходить в сторону от ранее близкого ей дела, а по истощенному, износившемуся ее организму крепко ударила голодуха. Екатерина Васильевна Иовлева не выдержала ее и умерла.

В кое-как сколоченном гробу, на таратайке, в кое-как вырытую могилу ее свез Н. Н. Кудряшев, земляк, только что вернувшийся тогда из американской эмиграции.

Во время моего непродолжительного пребывания в Москве я встретился и жил в одной квартире с Владимиром Михайловичем Шулятиковым. Знаком я с ним был раньше по Твери, когда он там жил на положении высланного из Москвы.

Тверская наша встреча произошла в „Парусе“. Этот „Парус“ представлял собою нечто вроде общедоступного клуба. В его читальном зале мы нашли только одну „Ниву“, по поводу чего он тогда заметил, что для Твери, прославленной своим земством, его знаменитыми либералами, одной „Нивы“ маловато, но что зато это идет к лицу города, который находится в двух шагах от Москвы и в то же время считается городом ссыльным, когда о тверском „Парусе“ никак нельзя сказать:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Московская встреча с В. М. была иной, Москва жила предгрозыем, приходилось цитировать не созерцательного, туманного Лермонтова, а трезвого и ясного, настроенного пророчески, тоскующего по труду чеховского барона Тузенбаха: „Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25—30 лет работать будет уже каждый человек!“

В. М. Шулятиков был человек книжный, критик-марксист, я—представитель рабочей массы. Выходило так, что мы друг другу были нужны, создавалась между нами товарищеская близость, вопросы литературы мы связывали с революцией. Однажды он мне задал довольно внушительную трепку, когда я защищал „непотухающую силу“ Тургенева. Против Тургенева он выдвинул поэтессу Аду Негри, познакомил меня со своими переводами из нее. Поэзию Ады Негри о труде и трудящихся он считал началом новой литературы, чем он вызвал и меня на признание в том, что я—автор трудовой поэмы „Ткачи“. Он просил меня ее восстановить.

С „Ткачами“ я побывал и у Н. А. Рожкова¹⁸, к которому я попал через Шулятикова с корреспонденцией для „Нашей Жизни“ об ивановском погроме. Корреспонденцию Рожков одобрил, а поэму нет. Нашел ее тяжеловатой, но по содержанию интересной. Поэму я решил переписать.

В истории „Ткачей“ был и довольно серьезный случай. В Рыбинске у меня имелся хороший знакомый Гордей Преображенский, студент, симпатичнейший юноша, тогда начинавший беллетрист. Он был знаком и с моими „Ткачами“, читал их в нескольких интимных кружках. Захотелось ему их прочесть и на маевке. В день маевки зашел он ко мне за рукописью и для опозитизирования своей фигуры взял у меня еще широкополую шляпу. Маевка не удалась, с маевщиками произошла обычная казацкая расправа. Шляпу Преображенский мне вернул, а рукопись нет: во время казацкой расправы, когда ему пришлось по-звериному ползать под кустами, рукопись каким-то образом выпала у него из кармана. Но о ней все-таки остались не одни только воспоминания. В некоторой части она сохранилась, так как отдельные ее куски позднее приняла форму самостоятельных стихотворений, из коих и сейчас можно составить поэму-мозаику о моей жизни.

На выручку меня в Москву, где я как безработный томился неопределенным положением—чем жить, что делать, приехал из Рыбинска С. М. Проскурнин¹⁹, мой земляк, работавший тогда в рыбинских и ярославских газетах. К этому делу он решил приобщить и меня. Пришлось поехать. В Рыбинске я сделался его помощником, он был специальным корреспондентом газеты „Русское Слово“. Платили хорошо, корреспон-

дировали по телеграфу, к событиям были чутки, а их было много, да и на выдумки были горазды; иногда при корреспондировании мы прибегали к маленьким невинным вольностям.

За счет моих двух стихотворений, напечатанных в „Вестнике Рыбинской Биржи“, мы встречали новый 1906 г. Продолжали жить и надеждами на ослабление в Иванове черносотенной общественности, в руках которой оказалось первое печатное слово: с ноября начала выходить черносотенная газета „Ивановский Листок“²⁰.

По поводу выхода „Ивановского Листка“ нам писали: „Недавно в доме Тихомирова, в помещении его типографии на углу Напалковской и Павловской улиц, был отслужен молебен. Молились за преуспевание окончательных побед над внутренним врагом, над безбожной и ненавистной купцам и помещикам революцией, ядром которой в Иванове являются рабочие. Молились за процветание свободы печати, дарованной манифестом 17 октября 1905 г. Молебен устраивал Павел Иванович Зайцев, фельдфебель царской службы и бывший табельщик одного из ивановских заводов, а ныне редактор „Ивановского Листка“. Культура фельдфебеля и табельщика уже начинает цвести махровым мракобесием, травлей рабочих и угодничеством перед полицией, фабрикантами, торговцами и обывателями.

Редактор „Листка“ особенно похож на фельдфебеля в „Хронике“, в которой он любит командовать „молодыми людьми“ в коротких куртках и штиблетах, называет их „освободителями“ и руководителями рабочего движения, приписывая им кражи и все виды уличного хулиганства. „Ивановский Листок“ у нас называют органом „общественного потемнения“, тираж его ничтожен и на его рост никаких надежд нет“.

Читая такие известия с родины, приходилось говорить:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

В противовес этому бандиту мысли, политическому сутенеру Павлу Зайцеву можно назвать другого Павла — Павла Симонова²¹.

Симонов в ивановском революционном подполье был замечательной фигурой, в нем, как ни в ком другом, была заложена природа подпольщика. Он в течение нескольких лет не выходил из своего подполья, ухитрился в самую жестокую пору преследования рабочего движения вывозить типографский стажок из одного подземелья в другое. Он объехал с ним все окраины города, побывал и в его центре, в деревне, в соседнем городе Шуе. Меняя своих квартирных хозяев, он умел с ними встречаться и расставаться. А когда в конце концов он попал на квартиру каторжной тюрьмы, то из крота он превратился в соловья, начал писать стихи, запел о солнечных днях и в тюрьме. Его очень ценил М. В. Фрунзе. Однажды мимо камеры Фрунзе он возвращался от судебного следователя, его М. В. остановил и спросил: „Ну как дела, Паша?“ — „Да на горе! Ждал 126-ю, а дали только 102-ю“. В подземелье Симонову юридическими науками заниматься было некогда, он плохо разбирался в том, какая статья крепче, 102-я или 126-я. И М. В. их ему расшифровал, сказав, что дела его скоро будут под горой, на каторге. Но Симонова это не смутило: что ему каторга, когда он ее уже знал? Сложная и ответственная работа в подполье была для него добровольными цепями, и эти цепи он носил с честью.

Одной из таких особенных побед в сентябре 1906 г. был выпуск газеты ивановской группы большевиков — „Известия“.

По размерам газета была в четыре страницы писчего листа бумаги. Выход этой газеты являлся опровержением тех кривотолков об иванов-

ских рабочих, что их партийная организация и их вожди после октябрьского погрома никак не могут подняться и не поднимутся. А тут против всякого ожидания у самого носса Павла Зайцева вышла рабочая газета с корреспонденциями от целого ряда фабрик, со статьями о Государственной думе, как на нее смотрят большевики. Правда, техническое оформление газеты было не без недостатков, оно в этом отношении „Ивановскому Листку“ кой в чем уступало; у Павла Симонова нехватало нескольких букв из титульных и текстовых шрифтов, хотя остальное все было в порядке.

Выход „Известий“ привел Зайцева в неистовое бешенство, его газета ополчилась на „Известия“ с обычными помоями. И это было понятно. Но совсем непонятным было поведение губернской либеральной газеты „Владимирец“, напечатавшей из Иванова корреспонденцию об „Известиях“, что несомненно отразилось на дальнейшей судьбе газеты. Около нее и без этих указаний копошилась вся наружная и тайная полиция, а тут, извольте ли видеть, по служебному самолюбию жандармов начали бить еще либералы, науськивать ее на подпольную газету. Выход „Известий“ ограничился только одним номером.

Недобрым словом приходится помянуть Павла Зайцева и за его обработку, за его эксплуатацию поэтов В. Ключинина²² и М. Артамонова²³.

Работали они у него и терпели его, находясь в положении газетных техников. Платил Зайцев им мало и этим он их вынуждал на приработок, заставлял их писать в угодном ему духе. Артамонов и Ключинин представляли собой богему, бесшабашную культурную вольницу. Тот и другой ежедневно и ежечасно старались освободиться от Зайцева, а выход из положения видели в издательстве, что осуществили и на деле. Ключинин в течение года выпускал журнал „Иваново-Вознесенская Жизнь“ и около того же срока выходил артамоновский журнал „Дым“. Артамонов свой „Дым“ начал издавать при 13 рублях в кармане, а Ключинин был еще смелее—у него ничего не было, кроме семьи из семи человек да знакомства с маленьким типографом Бабановым. Бабанов выручил и Артамонова, первые номера „Жизни“ и „Дыма“ были иждивенческим делом Бабанова и бесплатного сотрудничества рабочих поэтов—И. Назарова, А. Благова, Якова Лепилова, Ивана Панкратова, от компании которых не отставал и я.

Оба журнала, в чем у нас не было расхождения, были убоги, но хорошо и то, что без материальной помощи, без участия интеллигентных сил мы издаем обличительные журналы, становимся до некоторой степени выразителями общественного мнения, имеем рабочего читателя, создаем свою рабочую литературу, развиваем навыки самодеятельности. И это надо считать если не за литературное, то во всяком случае за самое реальное культурное достижение.

Журналы, подобные ключининской „Жизни“ и артамоновскому „Дыму“, я знал в Рыбинске и Ярославле. В Рыбинске вместе с С. М. Проскурниным мы издавали „Дубинушку“; общий наш знакомый в Ярославле Б. Куприянов издавал „Колотушку“. „Дубинушку“ мы начали издавать в самом буквальном смысле без копейки. Нас в этом деле выручил типограф Деменев и владелец газетного киоска С. Разроднов. Они сошлись на общей симпатии к нам обоим, а потому без особого труда мы их притянули к себе как бы в качестве соиздателей. Из нас образовалось в некотором роде коллективное товарищество. Никаких особых доходов из нас никто не получал, а какие доходы и причитались нашим соиздателям, то всякий раз, за каждый номер, мы рассчитывались где-нибудь в трактире за чайком и графинчиком, а последний заключительный, так называемый „разгонный“ графинчик часто

И. И. МАХОВ

Собрание А. Е. Ноздрина, Иваново



превышал доход наших коллег. Разговоры за графинчиком носили всегда характер общественный, — говорили прежде всего о судьбах провинциальной печати. Разроднов под хмельком однажды договорился до того, что предлагал свой дом под общежитие для газетных работников. Не отставал от него и Деменев: и он для нас, пасынков жизни, готов был поступиться своей типографией, отдать ее в наше товарищеское кооперативное пользование.

После выпуска семи номеров „Дубинушки“ все литературные и кооперативные наши планы рухнули, — сотрудники и доброжелатели „Дубинушки“ в это время объявили ярославским охранникам войну. Нас, руководителей „Дубинушки“, в эту войну они впутывать не хотели, зная, что и в „Дубинушке“ есть материал, за который можно было притянуть. Мы местную цензуру обманывали тем, что печатали переводы с несуществующего новогреческого языка. Вот наглядный пример:

ИЗ МАКЕДОНСКИХ МОТИВОВ

(с новогреческого)

ПЕСНЯ КУЗНЕЦА

С вами золото червонное,
Братской кровью обгаренное,
С нами молоты и плуг,
Да века нужды и мук
С закаленной силой рук.

(Припев) Стук, стук!

Куй, друг!

Под звук

Стук!.. Стук!..

Знайге, деспоты развратные,
Мы куем мечи булатные:
Ваши головы рубить,

Вашу кровь повсюду лить,
Чтобы волю раздобыть.

(Припев).

Всех побьем мы вас, губители,
Золотые повелители,
Нет от нас пощады вам,
Бессердечным палачам,—
Нет ее ни здесь, ни там...

(Припев).

Куй,— разбей ударом молота
Поскорее царство золота,
Все по камню размечи,
Что воздвигли палачи,—
Куй же, куй — смелей стучи!

(Припев).

(Перевел С. Сырейщиков.)

„Песня кузнеца“ Сергея Сырейщикова по всем признакам выходила за пределы „дозволенного“. Она напечатана была в октябре 1906 г., когда революционная волна уже спадала и поднималась волна реакции, растерянности. Мы это сознавали, но в практике провинциальных издательств это называлось тем, что подходило под понятие „написать под занавес“, закончить дело с шумом, с эффектом, с музыкой, за что в большинстве случаев отвечали подставные редакторы-„отсидчики“. Получался в некотором роде благородный жест. Рыбинская цензура „новогреческий язык“ так и проморгала, — мимо ее, да и мимо всех читателей рыбинских изданий проходило и такое бытовое явление старых газетных нравов. У „Рыбинского Листка“ и „Вестника Рыбинской Биржи“ начинает падать „розница“. Враждебно настроенные друг к другу редакторы этих газет вдруг становятся „друзьями“, уговариваются попить вместе „чайку“, идут в трактир и прихватывают туда с собой сотрудников. За „чайком“ выбиралась тема, устанавливался срок, в течение которого газета газету должна обливаться помоями, деликатно называя это „полемикой“. „Розница“ газет от этого выигрывала, серенький рыбинский американизм хорошо отзывался на заработке разносчиков газет, сотрудники „гнали строку“, казались именинниками, а общественное мнение было одурачено.

Меня почему-то облюбовал рыбинский газетчик С. Я. Разроднов и решил послать меня торговать газетами в Ярославль.

К задачам этой торговли, ради должно быть моего морального удовлетворения, была пристегнута и задача борьбы с черносотенными изданиями, имевшими в то время большой сбыт в Ярославле.

Более внимательным и ежедневным посетителем моего ярославского газетного киоска, открытого на Власьевской улице, был чиновник особых поручений при губернаторе — князь Голицын.

Он ежедневно у меня спрашивал „Вече“, „Московские Ведомости“ и другие черносотенные издания, а я ему изо дня в день предлагал газеты другого лагеря. Тогда он начал меня донимать еще тем, что заставлял в этих газетах комментировать указанные им места — и я за свои комментарии побаивался.

Мойм товаром начинали тяготиться и газетчики-разносчики, которые из-за более выгодных условий перешли ко мне от других хозяев. У них всегда спрашивали черносотенные издания, а у них их не было. Тогда в одно прекрасное время посланную мною через них телеграмму — за-

каз на газеты — они переделали, и я вместо обычного набора газет получаю одно место „Веча“, около 3 тысяч номеров.

Когда мне представилась возможность вернуться в Иваново, я очень жалел о том, что в Иваново я снова буду обречен на полное литературное молчание, а мне негде будет применить и свой опыт газетной техники. Но в таком бездейственном положении в Иваново я был недолго. В ночь на 3 июня 1907 г. меня арестовали, заставили отвечать за 3 июня 1905 г., когда я чуть не попал под казацкий расстрел, и за то, что в октябре этого же года я был черносотенцами разорен и ими же приговорен к самосуду. Тюремная контора вскоре мне объявила, что имеющееся за мной дело прекращено, надзор с меня снимается. А из тюрьмы меня все-таки не освободили, и этот тюремный анекдот кончился тем, что меня выслали в Олонецкую губернию. В ссылке оказался и Проскурнин, который был оставлен на исправление в Вологде, где он скоро сделался своим человеком в местной прессе, реферировал земские собрания, а ссыльное население города было в большинстве из культурных центров. Столыпин высылал тех, у кого совесть была не косноязычна, а мысль свободна.

На мою долю выпала олонецкая глушь. В эту глушь шли и ссыльные из глухих углов, „лесные братья“ — воронежцы, аграрники — киевляне и др. Они нередко создавали и такую обстановку, что южная глухомань шла войной на северную глухомань, создавались то и дело конфликты, на улаживание которых мы, два-три человека, будучи покультурнее других, тратили много времени. Мы растворялись в этой серой массе, а потому урядник и штык своим посещением нас не дожимали; мы не боялись за переписку, а я спокойно читал и писал, восстанавливая разрушенное черносотенцами, что позднее и вошло в мою книжку „Старый парус“.

Ссылка меня сделала большим поклонником эпистолярной формы, значение которой после дневников я считаю не менее ценным.

Моиими самыми близкими читателями того времени были С. М. Проскурнин и И. А. Волков²⁴, с которыми я всегда был в переписке. Первый из них как поэт и во мне видел своего соратника, а второй — краеведа. Через первого я узнал, чем живет юг, его центр, через второго — чем живет Поволжье. Это были облюбованные места их скитальчества, их газетной работы, к чему они оба имели большую неодолимую тягу и чего они не могли иметь у себя дома, в Иваново. Сошелся я с ними в ивановском отделении „Северного Края“ в пору молодого рабочего движения и еще более молодого, делавшего первые шаги рабкоровского движения. Ивановские передовые рабочие того времени, учуя в „Северном Крае“ свою рабочую трибуну, начали выдвигать из своей среды в газету корреспондентов, по современной терминологии рабкоров. Отделением „Северного Края“ в то время заведывала Ольга Алексеевна Белова (по мужу) родом из революционной семьи. Ее братья Александр и Виктор Вановские в свое время были довольно известными социал-демократами. Рабочие к Беловой сначала приходили только купить газету, подписаться на нее, а ей был нужен еще критик, серьезный читатель газеты. И когда она от рабочих узнавала, чего нехватает в газете, она им говорила: „А вы бы взяли да что-нибудь и написали в газету!“ Писательство в то время для рабочих было делом мало привычным. Тогда она решила их сделать корреспондентами-устниками. Записанным с их слов она делилась и с нами, с более культурными рабочими, знавшими хорошо город и фабрику, и газетная заметка уже принимала форму коллективной обработки, когда мы в нее вносили то или иное исправление.

Популярность газеты и самой Беловой превратили ее отделение в штабквартиру революционных явок, в склад нелегальной литературы, в адресат конспиративной переписки.

Тираж „Северного Края“ поднимался, успехами его тиража и общественной значительности соблазнился и наш губернский центр — Владимир. Появилась и в нем первая газета „Старый Владимирец“, основанная Левицким.

Соратники Беловой М. П. Капица²⁵ и мой молодой друг С. М. Проскурнин свою газетную работу разделили между „Северным Краем“ и „Старым Владимирцем“, в нашу группу первых ивановских газетных работников вошел И. А. Волков. Волков писал под псевдонимом „Кифа Мокеич“, Проскурнин — „Спиридонов поворот“, Капица — М. Радлов.

Как для „Северного Края“, так и для „Старого Владимирца“ сотрудничество указанной группы имело двойное значение: с одной стороны, оно служило их росту и развитию, а с другой — заставляло цензуру быть более внимательной к корреспонденциям и статьям из Иванова, за что эти газеты не только подвергались репрессиям, но иногда и приостанавливались. „Северный Край“ был вне черты нашей губернии и он продержался дольше „Старого Владимирца“. „Северный Край“ широко обслуживал и наше движение 1905 г. Отделение этой газеты во второй половине 1905 г. было в руках А. С. Самохвалова, у которого наше молодое рабкоровское движение было уже более организованным, его рабкоры были не беловскими устниками, а самохваловскими рукописниками. Самохваловское отделение было такой же революционной штабквартирой, каким оно было и у О. А. Беловой. Указанные две газеты создали и первых продавцов газет из рабочей среды. Особенно более заметными оказались Комиссаров и Андреев — это были первые рупоры, первые громкоговорители нашей первой революции 1905 г.

В поисках большего простора для своей газетной работы Проскурнин и Волков выехали из Иванова.

Проскурнин и Волков были авторами описания июльского расстрела наших рабочих в 1905 г. Московская „Северная Почта“ за напечатание этой корреспонденции была приостановлена на месяц. Я расстался с ними, продолжая поддерживать связь с ними через переписку. И откуда бы они мне ни писали, всегда меня спрашивали: „А в Иванове газеты все еще нет? Когда же она будет?“ Черносотенный „Ивановский Листок“ как я, так и они считали как бы не существующим.

Волков в своих письмах всегда был озабочен тем, пишу ли я, печатаюсь ли? Несколько моих стихотворений он напечатал в царичынских старых газетах типа „Волжско-Донского Края“ и „Царицынского Слова“. Еще в большей мере об этом заботился С. М. Проскурнин, но этот сам был непоседа. Человек неугомонной совести, прямолинейности, неспособный ни на какое прислужничество, он был все время неустроенным. То и дело он менял города, редко менял лишь вечно худые башмаки, рваное пальто или свое более чем скромное меню. Будучи уже женатым, он оставался поэтом богемы. Был он большим мастером и на выпивку, что по совокупности и привело его к преждевременной могиле. Умер он в 1923 г. в Харькове.

Вспоминается мне многое из нашей совместной работы с Проскуриным.

К весне 1907 г. я имел за собой уже более двух лет безработицы, жил в Иванове за счет родственников моей жены. Положение было тяжелое, морально гнетущее. Попытки вернуться на фабрику в мастерскую всегда оспаривались моими близкими товарищами. Они мне указывали на существующий „черный список“, куда и я был занесен как лишенный прав. Волею фабрикантов из трудовой семьи я был вычеркнут, на фабричных

воротях для меня красовалась надпись — „смертный, оставь надежды“.

Восстановление утраченных прав лежало через худший путь испытания, через путь раскаяния, покорности перед палачами духа, разгул которых с каждым днем все разрастался.

Во время этих дней, жутких и черствых, я был очень обрадован письму из Рыбинска от С. Проскурнина. Он мне писал: „Приезжай, есть интересное литературное дело“. Коротко, неясно, а поехать все-таки решил.

Была пасхальная неделя, под звон пасхальных колоколов я встретил Сергея Михайловича торжествующим на прежней квартире очень милой семьи Дубровиных. Смотрю на него и дивлюсь — весь он в синей краске, как рабочий ситцевой фабрики. Спрашиваю: что это значит?

— Яйца красил. Под яичко по лампадочке можно и выпить...

Оказалось, что в краске он вывозился по близорукости при печатании подпольной газеты „Рыбинский Затон“.

Это и было то литературное дело, о котором он мне писал.

С. М. конспиративную работу очень любил, ни от какой работы никогда не отказывался, но из него революционного поэта все же не вышло. Он оказался поэтом-белоручкой, синюю краску „Рыбинского Затона“ он отмыл, у выходца из рабочего города рабочего мировоззрения не оказалось.

Его книга „Замкнутый круг“ сделана хорошо, но в ней одно литературное нытье и книжность, не то, чем он жил когда-то, а то, чем жили в ту эпоху интеллигентские литературные верхи. Перерождение Проскурнина совершилось во время его работы в столичных и южных больших газетах. Работая в Рыбинске, С. М. имел перед собой издателя „Рыбинского Вестника“ Семена Разроднова. Семен Разроднов своим сотрудникам никогда никаких требований не предъявлял, кроме одного требования: „Хроники побольше“. Он был гостеприимен, любил засадить за свое артельное общее блюдо. Его обеды напоминали обеды плотников, каменщиков, с обязательной командой „таскай со всем“, сопровождаемого стуком его ложки по блюду. За этим блюдом в свое время побывали многие дети народа, сыны рабочего класса: Тихоплесец, Никаноров-Коринский, Травин, Ожегов, И. Волков и др. Многие из его бывших „нахлебников“ писали свои воспоминания и несправедливо, необдуманно называли Семена Разроднова чуть ли ни эксплуататором, домовладельцем, а на деле его дома были заложены и перезаложены. И думать, что он их строил за счет наших стихов и прозы, никак не приходится: на нас он разорялся, а не приобретал.

С. М. Проскурнин написал пьесу „Хозяин“ как продукт своей ненависти к действительным дельцам газетного мира более высоких степеней и масштаба, чем рыбинцы. В пьесе не было ни „Рыбинского Затона“, ни разродновских — „побольше хроники“, „таскай со всем“, а изображен был быт культурных живоготов. Этот материал своей новизной подкупал М. Горького и Л. Андреева, они с пьесой „Хозяин“ считались, как с литературным значительным явлением. Пьесу нигде не ставили. Мои попытки показать в Иванове земляка-дарматурга наткнулись на такое затруднение:

— Ну кому здесь нужна пьеса из газетного мира, когда у города нет никаких ни литературных, ни газетных традиций?

Здесь кажется уместно поставить вопрос, почему же из С. М. Проскурнина, всегда настроенного революционно, всегда мыслящего по-революционному, не получилось певца первой русской революции? Он очутился в туго затянувшейся петле, в „замкнутом круге“.

Мне кажется, что он подвел себя ставкой на высококультурного читателя. Как взыскательный художник он чурался низов, не хотел видеть,

своим читателем широкой рабоче-крестьянской массы, не учился у нее. А ведь ее репертуар старых народных песен был всегда репертуаром очень хорошего вкуса, что являлось и ее личным большим мастерством массового коллективного творчества.

Следя за низовым читателем, я эти наблюдения считаю своей учебой. На этих уроках я научился свойственной мне простоте языка, бытовой тематике, демократизации человеческого материала, научился защищать то положение, что художественно чаще всего то, что легко запоминается.

У меня есть стихотворение, озаглавленное

У П Р О Р У Б И

В полубухах рваных, рыжих,
Рыбу удит детвора;
Зябнет, греется на лыжах
У огромного костра.
„Песню пахаря“ Кольцова
Декламирует один.
Глушь кругом, а мастер слова
И в глуши здесь господин.
Мы в изгнании, а привольно
Все нам кажется кругом.
В чтение как-то произвольно
Стих вставляем за стихом.
Улыбается счастливо
Чтение вызвавший малыш.
И бегут, бегут красиво
От костра дорожки лыж.

Это происходило в глуши Олонецкого края, во время мартовского ужения ершей. В этом факте я видел восприимчивость трудового народа, чуткого к художественному слову, к обаятельной кольцовской простоте, чуждой щегольской заумности, так трудно запоминаемой. Поразительно было то, что собрались люди из разных концов, разных возрастов, а хрестоматийное стихотворение Кольцова у всех так свежо в памяти, как будто оно у нас заучено твердо на всю жизнь.

Нечто подобное тому, как воспринимает художественное слово народ, я встретил еще раньше, когда шел в олонекскую ссылку. Рыбинский конвой в Белозерске передал нас архангельскому конвою. Архангелогородцы были построже, чем рыбинцы. Военную дисциплину соблюдали свято. Им, в большинстве поморам, ходившим матросами в „Норвегу“, была хорошо знакома матросская дисциплина, и они нас в этапных избах старались держать в строгости и подчинении. Но они иногда и скучали, ради скуки часто прислушивались к тому, о чем мы спорим и нередко смеемся.

Конвоиры вздыхали... И в этих вздохах чувствовалось, слышалось раскаяние, голос человека, задавленного, обманутого святостью присяги. А с воли, с улицы, слышался другой голос, как бы поддакивающий нам:

Ой, как стало тяжело жить,
Горе наше копится,
Ведь отец чужой, на нас
Глядячи, навопится.

К числу тюремных поэтов в летописи пролетарской литературы надо отнести довольно колоритную фигуру Никифора Ивановича Махо-

ва, родом из села Стебачева, из тогдашнего богобоязненного Суздальского края. Махов в Иваново-Вознесенске появился в пору создания первых социал-демократических рабочих кружков, когда рабочие, подобные Махову, плохо ладили со своими фабрикантами-хозяевами, по доброй воле и поневоле переходили с фабрики на фабрику, а потом в течение многих-многих лет, но только уже поневоле, перекочевывали из тюрьмы в тюрьму. Первым стихотворением Махов ознаменовал первую встречу рабочими Иванова нового года. Это был канун 1906 г. На конспиративной квартире в сильно накуренной комнатухе, но без крепких напитков, рабочие дискутировали, пели песни и декламировали стихи народолюбцев, на что Махов как бы хотел сказать: и наши не хуже ваших. Он посмотрел на своих товарищей и прочел следующее свое стихотворение:

Мы как члены славной партии,
Социальной демократии,
Мы прогресс желаем ей,
Мы гроза купцов, царей,
Мы враги такого строя,
Где бездельники царят,
А рабочих, все создавших,
Страшным голодом морят.

Стихи Махова по форме были не выше стихов рабочих поэтов — Фролова, Шатунина и др. Но в содержании их уже ярко начинает выявляться подлинное лицо рабочего класса, развертывание его боевых путей.

Махов написал немного, и все им написанное датировано годами и помечено местом его отсидок в больших и малых тюрьмах того огромного полицейского участка, имя которого было „Российская держава“.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Нечаев, Сергей Геннадиевич (1847—1882) родился в Иванове и жил там до 1865 г. Интересные данные о генеалогии Нечаева, его раннем детстве, Нечаеве-подростке и пребывании его в Иванове приводит на основании архивных и других материалов П. М. Экземплярский в статье „Село Иваново в жизни Сергея Геннадиевича Нечаева“ („Труды Иваново-вознесенского губернского научного общества краеведения“. Вып. 4. Историко-революционный сборник. Иваново-Вознесенск, 1926). См. также ст. Н. Ф. Бельчикова „С. Г. Нечаев в с. Иваново в 60-е годы“ („Каторга и ссылка“ 1925 г., № 1(14)).

² Ежедневная газета „Современные Известия“ выходила в Москве с 1868 по 1887 г. Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824—1887)—известный в свое время публицист, примыкавший к славянофилам.

³ Орехово-звевская забастовка, известная в истории революционного движения под именем Морозовской стачки, происходила с 7 по 14 января 1885 г. Поводом к ней послужили незаконные штрафы, применявшиеся на фабрике Морозова, а также понижение расценки. Организатором стачки был П. А. Моисеенко. После Морозовской стачки началась целая полоса забастовок.

⁴ Гора Покровская, на которой до недавнего времени стоял в Иваново-Вознесенске Покровский собор,—одно из центральных, но тихих мест города, любимое место сборов молодежи в дореволюционное время.

⁵ Слуховский, Иван Осипович, брестлитовский мещанин, сын военного фельдшера, один из основных руководителей кружка, не шел дальше „просветительских“ задач.

⁶ „Кружок“, о котором пишет Ноздрин, был разгромлен в 1891 г. В нем преобладала интеллигенция; основной целью ставилось „саморазвитие“; социально-политические задачи были выражены слабо. Участники кружка: Слуховский, Бабилов, Суховский, Крестов, Ноздрин. Об этом кружке см. статью Н. В. Малицкого „Тайное общество“ в гор. Иваново-Вознесенске в 90-х годах XIX столетия“ („Труды Иваново-вознесенского губернского научного общества краеведения“); в этой статье приведен отрывок А. Е. Ноздрина из его рукописи „О себе. 1862—1922“, дающий краткий пе-

рассказ того, что публикуется о кружке в настоящих мемуарах поэта. См. также статьи в сборнике „XXV лет РКП (большевиков). Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков“. Иваново-Вознесенск, 1923. Более крепким и рабочим по составу и близким к демократическим идеям по направлению был последующий кружок, руководимый студентом Ф. А. Кондратьевым, из которого позднее возник „Иваново-вознесенский Рабочий Союз“.

⁷ Семенчиков, Роман Матвеевич (1877—1911)—выдающийся рабочий-революционер, по происхождению крестьянин с. Сирадовского, Шуйского уезда. Работая в Кохме на фабрике Ясюнинских, быстро втягивается в рабочее движение. Участник тайного рабочего союза в 1897—1898 гг. в Кохме. С 1898 г.—в Иванове, где становится участником рабочих массовок. В 1904 г. казаки жестоко расправляются с Семенчиковым, избив его и перерубив пальцы рук. Далее—революционная работа в Риге. В 1906 г. Семенчиков приговаривается к смертной казни (замененной 15 годами каторги). В Смоленской каторжной тюрьме принимает активное участие в организации так называемой „гололой“ забастовки. Проводил заключение в Шлиссельбурге. Умер на каторге. О Семенчикове см. А. Н. Рябинин. „Материалы для биографии Р. М. Семенчикова“. ГИЗ, 1922. Помимо биографии здесь приведены интересные статьи, письма и отрывки из дневников Семенчикова.

⁸ Постышев, Павел Петрович—выдающийся рабочий-революционер, ныне кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). В описываемый Ноздриным период отбывал наказание во Владимирской тюрьме.

⁹ Симонов, Павел—о нем см. примечание 21.

¹⁰ „Северный Край“—ярославская газета, основанная в 1898 г.; одна из лучших провинциальных газет, неплохо освещающая хронику рабочего и революционного движения.

¹¹ Шестернин, Сергей Павлович—иваново-вознесенский городской судья, принимавший горячее участие в культурно-просветительной работе среди рабочих. Был близок к кружку иваново-вознесенских рабочих (так называемому тайному обществу, образовавшемуся после разгрома „Иваново-вознесенского Рабочего Союза“). Привлекался к дознанию в качестве обвиняемого по процессу Общества и был распорядителем книжной лавки, имевшей целью смычку интеллигентов с рабочими. Н. В. Малицкий в упоминаемой выше статье приводит следующее место из показаний Шестернина: „В Иваново-Вознесенске при 54 тысячах населения не было ни одного книжного магазина, народных библиотек и читален и других просветительных учреждений тоже не было. Мне лично как судье при разборе дел постоянно приходилось наблюдать, что громадный процент всяких правонарушений совершается виновными в пьяном виде. В то время на улицах, особенно в праздничные дни, валялись повсюду пьяные, везде происходили драки и насилие. Такое одичание вполне понятно, если принять во внимание что ежегодно до 500 детей не принималось в школы из-за отсутствия в них свободных мест“.

¹² Письмо Короленко к Н. К. Михайловскому опубликовано в сборнике „В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921 гг.“ под ред. Б. А. Модзалевского. П., 1922 (№ 38 от 23 сентября 1900 г., стр. 64—66).

¹³ Грачев, Николай—выдающийся революционер, рабочий Иваново-Вознесенска.

¹⁴ Носков, Владимир Александрович (ум. в 1913 г. в Хабаровске)—видный революционер, участник социал-демократического движения. Один из главных организаторов Северного Рабочего Союза. В Иваново-Вознесенске учился в реальном училище, позднее вошел в рабочие кружки и примкнул к марксизму.

¹⁵ Приводимое место из статьи Новикова прекрасно доказывает, что Горький в образе Пелагеи Ниловны (роман „Мать“) дал верное типовое обобщение матери рабочего.

¹⁶ Козлева, Е. В.—хорошо известная членам иваново-вознесенской организации большевиков революционерка, впоследствии отошедшая от движения и формально не состоявшая в партии. Оказывала огромное содействие работе организации.

¹⁷ Шулятиков, Владимир Михайлович (1872—1912)—известный публицист-литературовед, один из ранних марксистских литературных критиков.

¹⁸ Рожков, Николай Александрович (1868—1927)—крупный историк, активный участник революции 1905 г.

¹⁹ Проскурнин, Сергей Михайлович (1880—1923)—журналист, поэт и драматург (псевдоним Милий Стремин). Типичный провинциальный работник печати, исколесивший почти всю Русь. Не имея твердых политических взглядов, Проскурнин однако чутко отзывался на современные темы и, будучи незаурядным фельетонистом, смело боролся за независимую провинциальную печать и за лучшее существование народных масс. В Рыбинске он вместе с Ноздриным издавал сатирический журнал „Дубинушка“. В 1907 г. был выслан на три года в Вологодскую губернию. Лирика его собрана в книге „Замкнутый круг“ (изд. „Общественная польза“, 1913); из пьес его ставились „Звонарь Реймского собора“, „Хозяин“—из жизни ссудных работников.

²⁰ „Ивановский Листок“ был махровой погромно-монархической газетой и велся довольно безграмотно. Редактор его П. И. Зайцев, бывший ротный фельдшер, член „Союза Русского Народа“, издавал газету не столько по призванию к тяжелому газетному делу, сколько предвидя выгоды от служения печатному делу (см. о нем „20 лет по газетному морю“ И. А. Волкова).

²¹ Симонов, Павел—рабочий-революционер, токарь механического завода, блестящий организатор подпольной типографии 1905—1906 гг. Был членом совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. Типография вначале помещалась на квартире Симонова, затем была переведена на Борисовскую улицу. Работал Симонов по созданию типографии и в Шуе до конца 1906 г. О деятельности типографий Симонова см. в статье В. Симонова „В подполье“ (сб. „Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков“).

²² Ключин, Василий Егорович—иваново-вознесенский фельетонист и поэт, редактировал журнал „Иваново-Вознесенская жизнь“. В своих банальных по форме стихах помимо изображений купеческого и мещанского быта касался и тяжелой доли рабочего; ясно выраженных общественно-политических тенденций его газетная лирика однако не имела.

²³ Артамонов, Михаил Дмитриевич (р. 1888)—поэт, деятельный сотрудник иваново-вознесенских изданий как дореволюционной, так и революционной поры. В 1913 г. издает в Иваново-Вознесенске журнал „Дым“ и выпускает сборники своих стихов: „Когда звонят колокола“ и „Улица фабричная“. В это же время—ближайший сотрудник большевистской „Правды“, „Работницы“, „Вопросов страхования“ и других изданий. С 1924 г. в Москве. За революционный период издано несколько сборников его стихов, рассказов и очерков.

²⁴ Волков, Иван Андрианович (р. 1881)—иваново-вознесенский литератор-„газетчик“. Очерки его из фабричной жизни с сатирическим показом ивановских фабрикантов печатались в 1903 г. во „Владимирской Газете“ под названием „Ситцевое царство“. Сотрудничал в „Северном Крае“ и многих других провинциальных газетах, давал корреспонденции о положении рабочего класса в „Русские Ведомости“ и другие столичные издания. В революционные годы изданы следующие книги А. Волкова: „Ситцевое царство“ с предисловием М. П. Сокольников (А. „Основа“, Иваново-Вознесенск, 1925), „Двадцать лет по газетному морю“ („Основа“, 1925), „Ситцевое царство“, том второй („Основа“, 1920), „Бунтари“—сцены из истории рабочего движения 1905 г. („Основа“, 1925). О нем см. в брошюре М. П. Сокольников „Литература Иваново-Вознесенского края“. Иваново-Вознесенск, 1925, стр. 26—27.

²⁵ Капица, Михаил Петрович (1870—1924)—участник подпольных революционных кружков Петербурга и антиправительственной демонстрации 13 апреля 1891 г. в день похорон Н. В. Шелгунова. В Иваново-Вознесенске был с 1900 по 1905 г. в должности фабричного инспектора. Проявил большое внимание и чуткость к местному рабочему населению, защищая всячески его интересы как по служебной линии, так и в печати. Печатался до революции обычно под псевдонимами Михаила Радлов и Т. Произведения его печатались в „Русском Богатстве“, „Журнале для всех“, в „Северном Крае“, „Владимирской Газете“, „Правде“ и мн. др. Среди его беллетристики немало очерков и рассказов из рабочей жизни („Сутанкой попалась“, „Дядя Семен“, „Нищенствующие дети“, „Хожалый“, „Антип“, „Абдулка“, „Кузнец Тихон Ермолаевич“, „Таскальщик Егор“ и др. Некоторые из его рассказов вошли в книгу „Живые фотографии“, М., 1904, под псевд. Михаил Радлов). В революционные годы выпущен был отдельным изданием „Котлолист Ваня“ (А., 1924)—повесть об ужасающих условиях труда малолетних рабочих-котлолистов. Незадолго до смерти Капицей подготовлена была для печати книга произведений под названием „Пролетарские рассказы“. О нем см. статью Леонида Богданова „Бытописатель рабочего края“ („Литературное приложение к „Рабочему Краю“, 22 мая 1928 г., Иваново-Вознесенск).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ АВЕПИРА НОЗДРИНА

1. МОЯ ДЕЖУРКА¹

Я у природы как дежурный,
За всем слежу. на все смотрю.
Люблю я дня покров лазурный
На нем вечернюю зарю.

Моя дежурка—мир громадный
О, я величие люблю...
И только смерти беспощадной
Свой пост любимый уступаю.

2. БЕСПОМОЩНЫЕ

Спи родная, спи беспомощной,
Я тепло тебя закутаю!..
Дай одной подумать вволюшку
Над твоей болезнью лютою.

Не могу взять в толк я, бедная,
Что за дни пришли несчастные?..
То в знобу ты, то каленая,—
Помутились очи ясные.
Отчего, моя ты доченька,
К вешним дням так обессилела.
Как цветок появля осенью,
Словно птичка обескрылела.
Бредишь ты. В бреде не радуешь
Ни словечка утешения,
Запугали меня горькую
Твои страшные видения.
К лекарям не раз толкалася,
Их искавши, сбила ноженки.
Обещали, дочка, выехать,
Да знать нет для них дороженьки.
Не свое дитя... им плакаться

Нет нужды по нам из жалости,
 Им от нас-то взять ведь нечего.
 К нам дорога—путь не к старосте.
 Спи, родная, спи беспомощной
 Я тепло тебя закутаю!..
 И сама я занедужала,—
 Знать твоей болезнью лютою...

1897 г.

Кляченка гроб досчатый
 Свезла под сень березы,
 Любовь шла провожатой,
 Кричали ее слезы.

Роман простолудинки
 Был крепок, без печали.
 Но слез ее поминки
 Всех встречных удивляли.

1905 г.

3. ЦЕРКОВНЫЙ ПЕЙЗАЖ

На двух извозчиках заезжанных, простых
 Подъехали ткачи к церковному подъезду...
 В corteже свадебном не весел был жених—
 И видел я печальную невесту.

В их адрес из зевак толпы
 Летели язвы, стрелы мещанина,
 Что заждались их певчие, попы,
 Невеста—хоть куда, и сам
 жених—картина.

А дальше было таинство церквей,
 Что совершалось довольно просто:
 Поп торопился обвенчать ткачей,
 Сердился на дьячка, тянувшего «Апостол».

1899 г.

4. НЕВЕСТА

На селе невесту
 Девки расхвалили,
 От души, от сердца
 Счастья насулили.

Платья подвенечного
 Цвет всем бабам нравится
 И невестой счастливой
 Свахи не нахвалятся.

Но невеста плачется:
 Что-то есть сердечное,
 Что ее не радует
 Платье подвенечное.

Знать милей ей волюшка
 Девичья, подружина,
 Знать семьи неволюшкой
 Девушка запугана.

1900 г.

5. ОН И ОНА

Луна... Она
 Балкон... и он...
Старые альбомные стихи.

Он был рабочий каталь,
 Работал у причала,
 Там, где валили падаль,
 Она тряпье собирала.

Покончив день рабочий,
 Они гуляли, пили,
 И где попало ночи
 Счастливо проводили.

Но как-то он в горячке
 Отряд взял не под силу:
 Надорвался за тачкой.
 Слег и ушел в могилу.

6. В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

Цепи, что ноги сковали,
 Цепи, что ноги томят,
 Песню тоски и печали
 Снова запели, гремят...

Ноги оков не выносят,
 Бледные люди скорбят...
 Слабых, немногих подвозят,
 «Вещи» в санях их теснят.

Холодно. Пешие скоро
 Будут подпалываться, стыть...
 Холодом окрик надзора
 Будет несчастных томить.

— Лучше бы петля, удавка...—
 Злобно одни говорят.
 Вот и селение... лавка...
 — Что кому надо? — кричат.

В селах кандальщиков любят.
 Бабы, их встретив, взгрустнут...
 «Вечные» — брови насупят,
 «Срочные» — тяжело вздохнут.

1908 г.

7. ЭТАП

Идет этап... Как день весны
 Мы встретили его:
 Вестей с родимой стороны
 Мы ждали от него.

Что в нем, нейдут ли земляки?..
 Знакомых нет ли в нем?..
 И, как всегда, конвой в шттики
 Нас встретил, был врагом.

В досаду вылился восторг,
 Желанье близких встреч...
 И шел с солдатами наш торг,
 Держали к ним мы речь.

На языке кавказских гор
 Спросил своих грузин.
 Ответа нет... А с давних пор
 Он «вечник» здесь, один...

Я не сводил с кавказца глаз:
 Он внутренне рыдал,
 И с той поры его Кавказ
 Мне как-то ближе стал.

1908 г.

8. МОИ РАЗДУМЬЯ

Карелия—страна озер, лесных очарований,
В цепи пропащих мест—убогое звено,
А край когда-то был уделом изысканий,
И Петр здесь думал прорубить окно.

Размах Петра пришлося не по силам
Его наследников: в стране царила мгла,
И косность царская в зачатый погубила
Петрозаводска славные дела.

Петрозаводск утратил всякое значение,
В нем нету никакого роста, широты,
Лишь гонят без конца в его «распоряжение»
Людей борьбы, идеи и мечты.

С любовью, радостью, с высокою приязнью
Не ценят здесь природы красоту,
Ее хозяева живут бессильем и боязнью,
Боясь переступить оседлости черту.

Среди своих меня пугают пережитки
Мещанской суеты неотметенных зол,
Мечтают об амнистии, о сроках скидке,
Как-будто может дать их царский произвол.

А конь самодержавья вздыблен,
Как никогда, грозит все подавить собой,
И расправляется палач Столыпин
С рабочим фабрики, с крестьянской гольф-бой.

1908 г.

9. ОЛОЧАНКА

Романтика севера

О ней давно мы сговорились:
Не по селу ее краса,
Что олочанкой бы пленились
Там где теплее небеса.
А здесь круг жизни олочанки
Уродлив, больше чем нелеп:
Она трудится спозаранки
И за один лишь черный хлеб.
А зуббы белые—березник,
И все в ней сила, красота...
Я знаю, кто ее любезник
И кто из нас ее мечта.
Но ей о милом и желанном
Лишь помечтать здесь суждено.
Есть слух в селе: с ее романом
Покончить быстро решено.
Ей прочат лавочницы долю.
Жених старик, но он богат,
И отдадут ее в неволю,
Что злее нашей во сто крат.
Но мы в конце ее романа
Такой вставляем эпилוג:
Есть разработанного плана
Побеги нескольких дорог.
Есть разработка экс-плана:—
Здесь возит золото казна,
То нам для дела, для романа
Она ведь что-то дать должна.

1908 г.

10. ОХОТА

Птицы в сельгах не поют,
Не цветут поляны,
А ночуют да днюют
Сизые туманы.
Нет туманов—дождь идет
Окладной, недельной:
Затомился наш народ
Скукою постельной.
Надоело нам лежать,
Залежались лыжи...
«Эх, пора бы погонять
По лисиде рыжей...»
Любят наши егеря
Помечтать, подумать,
Что здесь всякого зверья,
Всякой дичи—уйма.
А мечта—ружье иметь—
Плод опасной страсти,
На нее давно запрет
Наложили власти.
Но по нам, как по зверям,
Введена охота,
Здесь урядникам, шпикам
Есть с ружьем работа.
За побег бить смельчака
Нет для них запрета,
У урядника, шпика
Есть закон на это.

1908 г.

11. НА ЭТАПЕ

На этапе скуден свет...
Время спать... Не спится...
Задудил махрой сосед,
Как овин курится,
Тянет песню конвой,
Песню грусть-кручину...
От казенных бань, квартир
Расчесал дед спину.
Старику за шестьдесят,
С ним идут ребята,
В «женской» вопят, голосят,
Старого внучата...
Крепкий, вольный анекдот
Рассмешил нас разом;
Улыбнулся в свой черед
Я двум метким фразам.
Для конвоя, царских псов,
Анекдот—повада.
Чу, скрипит в дверях засов—
Прется к нам команда...
За вранье солдаты нам
Станут как своими:
Бродим вместе по шинкам,
Спим не запертыми.

1909 г.

12. МЕЧТЫ

Опять нет на глазах моих тех розовых
очков,
Через которые смотрел я в жизненные
дали...

Опять не снится мне лучистых новых снов...
Нежданно, как-то вдруг очки мои упали...

Но ведь пройдет же то, что тяжело глазам.
Что душит и гнетет, как дни любви за-
быты...

И я еще вернусь к тем розовым очкам:
Они—мои мечты—в пыли, но не разбиты.

13. ДУША ПОДПОЛЬЯ

(Е. В. Иевлева)

Вся жизнь ее была в чураньи
Удобства, сытости, тепла...
Она жила, в очарованьи
Лишений ~~темного~~ угла.

Мы молодой ее не знали,
Не знали и старухи в ней,
А «бабой мокрой»² называли
Как героиню новых дней.

Она шумихе и апломбу
Одно твердила: грош цена.
Дать место «явке», спрятать бомбу
Умела с честью она.

В дни баррикад Москва горела...
Мятеж был гость ее угла,—
Она сегодня не доела.
Она вчера не допила.

И сбереженное сносила
Туда, где был неровный бой,
Где смерть ее друзей косила,
Но не давал никто отбой.

Когда же царство сытых пало,
Подполье вышло из углов,
В ее углу «своих» не стало,
Она не сбросила оков...

А умерла — жизнь-баррикаду
Сдала без всякой суеты.
Так быть должно, знать, по укладу
Ее душевной красоты.

Крутом—ни близких, ни хозяйки
Угла, ни горестей земли...
Под скрип колес, на таратайке
Ее в могилу отвезли.

Найти ее могилу поздно,
В ней нет весенних вех, зимы...
И не оплаканную слезно,
Хоть песней, да помянем мы...
1925 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Это стихотворение, найденное в архиве Брюсова и переписанное его рукою, было напечатано в журнале „Россия“ (1923) как брюсовское. В действительности это одно из ранних стихотворений Ноздрина.

² „Баба-мокра“ — из романа Ежа „На рассвете“.